

скандинавская линия

Ян Хьярстад
ЗНАКИ
ЛЮБВИ

18+

«Захватывающий роман о большой любви,
написанный местами давящим, местами
свободно летящим, одновременно и простым,
и орнаментальным языком».

Mue Лунд, Berlingske Tidende



Скандинавская линия «НордБук»

Ян Хьярстад
Знаки любви

Издательский дом «Городец»

2012

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

Хьярстад Я.

Знаки любви / Я. Хьярстад — Издательский дом «Городец»,
2012 — (Скандинавская линия «НордБук»)

ISBN 978-5-907641-06-8

Мир Сесилии, дизайнера шрифтов из Осло, состоит из печатных знаков. Еще ребенком, в гранитной мастерской деда, она твердо усвоила: не стоит недооценивать силу букв. Она уверена, что вот-вот создаст шрифт, способный творить чудеса. Не зря же дед часто повторял: «По-настоящему ценно в жизни только одно — попытка совершить невозможное». Вот только помогут ли буквы вернуть к жизни любимого? Ян Хьярстад (р. 1953) — известный норвежский писатель, теолог по образованию, в 1985–1989 годы работал главным редактором влиятельного литературного журнала «Окно» («Vinduet»). Автор пятнадцати романов, переведенных на многие иностранные языки, а также нескольких детских книг и сборников эссе. Лауреат премии Ассоциации норвежских критиков (1984) и премии Северного совета (2001). Стиль романов Яна Хьярстада — постмодернистских, интертекстуальных — легко узнаваем. Автор обладает колоссальным словарным запасом, нередко сознательно пользуется устаревшими словами и неологизмами. В его книгах можно найти множество символов и отсылок к литературным произведениям, фильмам, музыке, живописи. На русском языке публикуется впервые.

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-907641-06-8

© Хьярстад Я., 2012

© Издательский дом «Городец», 2012

Содержание

Предисловие издателя	7
I	8
II	11
III	18
IV	29
V	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Ян Хьярстад Знаки любви

Jan Kjørstad TEGN TIL KJÆRLIGHET

© Jan Kjørstad

First published by H. Aschehoug & Co.

(W. Nygaard) AS, 2012

© Дарская Е. Д., перевод на русский язык, 2023

© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2023

* * *

«Ян Хьярстад вновь подарил нам прекрасную, вдохновляющую историю
– знаки, о которых мы еще долго будем раздумывать».

Лиллиан Ватной, Dagsavisen



Ян Хьярстад (р. 1953) – известный норвежский писатель, теолог по образованию, в 1985–1989 годы работал главным редактором влиятельного литературного журнала «Окно» («Vinduet»). Автор пятнадцати романов, переведенных на многие иностранные языки, а также нескольких детских книг и сборников эссе. Лауреат премии Ассоциации норвежских критиков (1984) и премии Северного совета (2001). Стиль романов Яна Хьярстада – постмодернистских, интертекстуальных – легко узнаваем. Автор обладает колоссальным словарным запасом, нередко сознательно пользуется устаревшими словами и неологизмами. В его книгах можно найти множество символов и отсылок к литературным произведениям, фильмам, музыке, живописи.

Предисловие издателя

Издание настоящей книги сопровождалось обстоятельствами весьма необычными. Рукопись поступила к нам от некоей женщины, пожелавшей сохранить анонимность. К тому времени она, по настоянию автора, хранила ее уже три года. Ни ей, ни нам неизвестно, где на сегодняшний день находится владелец авторских прав. Сопровождающий рукопись юридический документ предписывает передать все отчисления от возможного тиража тому, кто принес ее в издательский дом.

Мы расцениваем рукопись как роман. Никого из второстепенных действующих лиц идентифицировать не удалось, имя рассказчика также вымышлено. Тем не менее текст переплетен с действительностью так тесно, что любопытный читатель без труда сможет прочувствовать переживания настоящего норвежца из плоти и крови. Многие, впрочем, указывают на то, что книга – во всяком случае, некоторые ее части – повествует о событиях, произошедших в реальности. Мы не рискуем однозначно утверждать, что в книге правда, а что – вымысел, однако не можем не заметить, что описанные обстоятельства представляют значительный интерес для широкой публики, особенно в свете горячо обсуждаемого на международной литературной арене вопроса авторства.

Как вы узнаете в процессе чтения, текст был написан от руки, что современному читателю в диковинку. Поначалу мы были поддались искушению издать рукопись факсимиле. Не станем скрывать: красивее этого почерка в нашем издательстве еще не видели.

I

Я видела другую «А». Я видела знак, который не мог быть предназначен для человеческих глаз.

Большинство пар охотно делится историей своего знакомства. Они шлифуют свой рассказ, неустанно наводят лоск. Мне повезло: нам довелось пережить первую встречу не раз, я встречала своего возлюбленного поэтапно. Для начала я всего лишь узнала о том, что он существует.

Я была зажата в переполненном трамвае. Снаружи темно. Декабрь. Меня клонило ко сну после утомительного десятичасового рабочего дня и общения с еще более утомительным заказчиком. Тем не менее я, должно быть, искала. Я – та женщина, что всегда в поиске. Прислонившись к спинке сиденья, я заметила руку, которая обхватила перекладину. Рука принадлежала мужчине, чей силуэт заслоняли другие пассажиры. Она парила в воздухе перед моими глазами. На одном из пальцев поблескивал золотой перстень-печатка. Выгравированная на крошечной пластине буква «А». Я повидала множество «А»; могу похвастаться, что знаю куда больше видов «А», чем большинство людей, и могу написать «А» так, как это сделали бы Клод Гарамон, Джон Баскервиль или Адриан Фрутигер¹. Но «А», подобную той, что красовалась на кольце, мне видеть не доводилось. Даже сегодня я не знаю, что это была за «А». Мне захотелось привлечь внимание владельца перстня, но я только стояла, застигнутая врасплох, не в силах отвести взгляда от золотой «А». Ничего не происходило. Рука исчезла. А я осталась, но с отпечатком, будто податливый красный сургуч.

Первая встреча.

Золотая буква. Помню тот день, когда я осознала, что между письмом и золотом есть связь. Мне было семь лет, и я впервые оказалась в Мемфисе, где дедушка «делал золото», как я тогда говорила. Камень лежал перед нами, как тяжелый лист бумаги на грубо сколоченной школьной парте – то есть на одном из ящиков на колесах, в которых дедушка перевозил памятники по мастерской. На поверхности черного гладко отполированного гранита было видно дедушкино лицо – белая борода и кустистые брови отражались в камне, как будто в бездонной тьме спрятался его брат-близнец. На камне были выгравированы две строчки. На нижней – звезда и дата, на верхней – дата и крест. Я только что научилась читать и по слогам осилила имя на заглавной строке.

– Аб-ра-хам Алм-аас. Ты его знаешь?

– Знаю только, что он был директором какой-то школы, – отозвался дедушка. – Его вдова попросила не писать профессию, решив, что имени в 22 карата вполне достаточно.

Просторная синяя рубаха до пят делала дедушку похожим на волшебника в мантии.

– Как *много* а-шек, – сказала я почти что с завистью и очертила пальцем надпись, водя по заранее нанесенной на камень грунтовке.

– Гляди в оба, сейчас будем превращать камень в золото.

Дед посмотрел на меня с улыбкой, весь сплошные морщинки и не слишком ровные зубы.

А затем произнес фразу, которая навсегда врезалась в память:

– По-настоящему ценно в жизни только одно. Попытка совершить невозможное.

Дедушка принес самую интересную вещь во всей мастерской: ящик для сигар. Легкая деревянная поверхность, обклеенная живописными этикетками, – сам по себе он был произ-

¹ Клод Гарамон (1490–1561), Джон Баскервиль (1706–1775), Адриан Фрутигер (1928–2015) – типографы, создатели одноименных шрифтов (здесь и далее – прим. переводчика).

ведением искусства. Из ящика он извлек небольшую белую коробку, а из нее – одну из своих маленьких книжечек, где, проложенные тонкой калькой, лежали листы сусального золота.

«Надежно, как в гробнице Тутанхамона», – говаривал дедушка.

Я вытянулась на цыпочках от любопытства, когда он накладывал золото слоями на буквы и цифры. Золотые листочки были такими тонкими, что их уголки свешивались с кончиков дедушкиных пальцев. Я стояла со специальной щеточкой наготове, точно ассистент, готовый сию секунду подать хирургу скальпель. Ею дед втирал золото, которое тут же превращалось в пыль, в надпись, одновременно аккуратно собирая все частички вокруг. Для меня, семилетней девочки, это была магия. Камень превращался в золото.

Через какое-то время можно было закатывать ящик с камнем в комнату для мытья. По дороге в воздух взмывали золотые пылинки, поблескивая в оконном свете. Я шествовала среди золотых искр и представляла, что иду под дождем из золота – подарком случайно залетевшей в мастерскую доброй феи.

Дед ополоснул водой черную поверхность камня, удаляя излишки грунта и золота вокруг букв. Последние остатки он счистил пемзой. Под конец я получила разрешение вытереть гранит настоящей морской губкой. Я бы не терла с большей аккуратностью или благоговением, даже если бы мне доверили уход за «Кадиллаком» дяди Исаака. Дедушка отступил на шаг назад и окинул взглядом работу.

– Возможно, у нас в роду есть алхимики, – сказал он после долгого молчания.

Он нередко надолго замолкал, чтобы подумать.

Я раньше не слышала слова «алхимик». Звучало похоже на «оптимист».

– Алхимики, или алхимики, пытались превратить что-то не слишком благородное или не слишком ценное во что-то поблагороднее и поценнее, – когда дедушка начинал говорить так увлеченно, его белая борода казалась наэлектризованной. – И гляди-ка, мы превратили обычное имя в золотое. Разве мы с тобой, подобно алхимикам, не доказали, что во всех людях есть нечто благородное, нечто вечное?

Я ничего не поняла из его слов. Но, может быть, почувствовала, когда оглядывала результат наших трудов: одно дело – высеченный в камне «Абрахам Алмаас» и совсем другое – «Абрахам Алмаас» в золоте. Мне казалось, что буквы светились, нет, *горели*, особенно шесть «А». Вглядываться в каменные борозды было все равно что смотреть на настоящее золото; камень был не более чем тонкой черной пленкой, скрывавшей то, что дедушка называл «металлом богов». Я представила, что, если бы директор увидел свое надгробие, он остался бы горд и поставил бы дедушке самую высокую оценку.

Когда я выходила из мастерской, на мне частенько лежал слой золотой пыли. И на лице тоже. Я никогда не пыталась ее стереть.

Давайте поясню раз и навсегда: я питаю к знакам и буквам особые чувства. Кольцо из трамвая, золотая гравировка «А» не давали мне покоя. Голова кружилась. Дома я замерла перед зеркалом, неуверенно ища отпечаток, отметину на лбу. Я нашла лист бумаги и попыталась нарисовать «А» по памяти. Не справилась. У меня всегда получается воспроизводить буквы, которые я встречаю. А сейчас – не вышло. Я забавлялась мыслью, что мужчину могли звать Анджело. Что он был ангелом. Или искусителем. Не знаю.

Вечером я включила компьютер, да только сидела без дела, уткнувшись взглядом в монитор. Как будто ждала сообщения. Ждала, что буквы на экране появятся сами собой. Была потрясена, сама не знаю почему.

* * *

Долгое время считалось, что древний город Акуза обратился в руины после мощного землетрясения. Однако недавно ученые обнаружили старинную рукопись, в которой излагается другая версия: после изгнания из Акузы философ Артисонос отправился к Эвреке через горы. На одном плоском утесе он разыскал место, где мелом начертил большую А. Он встал у ее ног, воткнул свой посох в острие А и поднял Землю. Через несколько секунд посох сломался, и Земля с грохотом рухнула обратно.

Знаки притягивали меня всегда. Не так уж это и странно, коль скоро я выросла в Фивах, нередко бродила по Долине Царей² и карабкалась по холмам вокруг Дейрэль-Бахри. На протяжении всей жизни я искала следы. В детстве меня за уши было не оттащить от обоев с непостижимыми узорами. Я могла завороченно замереть над отпечатком птичьей лапы на мокром песке, над этими загадочными линиями, особенно если несколько птиц прошли по следам друг друга. Когда я впервые увидела клинопись ассирийцев, меня переполнила радость узнавания. Это были тайные буквы птиц, не иначе.

Когда учительница хотела поругать кого-то из моих одноклассников за почерк, она говорила, что те пишут «как курица лапой». Никогда не понимала, почему эта характеристика казалась ей негативной.

Когда мама брала меня с собой в магазин покупать новую обувь, подошвы интересовали меня не в пример больше ботинок. Каким получится след? Став взрослой, я иной раз замечала следы, рисунки на свежем снегу, наполнявшие меня предвкушением. Вот только при встрече с владельцем ботинок лицом к лицу я неизменно испытываю разочарование.

Отчего я такая? Не знаю. Правда, не знаю.

Однажды летом дедушка красил пол на веранде, а заодно и уличную лестницу. Дверь в гостиную стояла открытой. Кот Рамзес прокрался внутрь с веранды.

Красные пятнышки краски на полу, восхитительный узор лап уводил в кухню. Я пошла по следу и дошла до плиты, где остывал целый поднос сдобных булочек. С тех пор мне всегда казалось, что таким письмом и должно быть: красной нитью, ведущей тебя к чему-то хорошему.

К его комнате.

И тем не менее – когда это случилось, я не могла поверить в реальность того, что видела перед собой. Я искала сравнения. Мне вспомнился день, когда я долго сидела и всматривалась в узоры света и тени мягких песчаных дюн к западу от Каира... Или когда я рисовала акварели известняковых гор Гуйлинь, сидя в лодке на реке Гуйцзян, – караван сказочных животных, исчезающих друг за другом в утренней дымке. Или то ослепляющее впечатление от встречи с бесконечными снежными просторами Антарктики. Но ничто не могло сравниться с ним – с тем, кто в белесом свете стильного зимнего дня спал на матрасе под незанавешенным окном в городе Осло; намек на спинные позвонки в ямке между лопатками, линия от бедра до лодыжек. Золотистый отсвет кожи. Я многое повидала в мире, но к этому не была готова.

² Долина Царей – археологический комплекс заупокойных храмов и гробниц фараонов. Является частью Фиванского некрополя.

II

Кем он был? Второе, что я узнала о нем, было тоже о руках и пальцах. О прикосновениях.

Суббота. Канун Рождества. Снега намело необычайно много. Все казалось незнакомым, новым, светлым. Большинство улиц еще не успели расчистить, и Осло излучал атмосферу зимы, чрезмерную белизну, какую редко застанешь в столице. Все устремились за подарками. Из-за непроходимых улиц и наледи центру города грозил опасный хаос.

Пишу «хаос» и вижу, что слово передает состояние разлома, разлёта во все стороны. Не вижу смысла извиняться. Оно честно отражает мое состояние. Тем не менее есть здесь и некий парадокс: мне – писателю, которого и критики, и читатели некогда хвалили сверх всякой меры, – не удастся придать истории ту форму, ту убедительность, коей она заслуживает. Несколько месяцев назад я бы справилась. Все, что я писала тогда, гарантированно читали; никто глаз не мог оторвать от текста. Никто. Я – мастер, который необъяснимым образом лишился своих способностей. В самое неподходящее время.

Мне было необходимо посетить монастырь. Я зову его монастырем. *Ora et labora*³. Именно такое наставление мне сейчас требуется. Молись и трудись. Я испытываю почти болезненную потребность резюмировать и подытоживать. Как и потребность убедиться в том, что я еще в своем уме. Сiju в дорожной одежде. Для кругосветного путешествия. Чемодан стоит наготове в углу. Я пакую его каждое утро, чтобы сорваться в любой момент. Чемодан наполовину пуст. У меня нет ничего, что имело бы значение. Только история, которую я сейчас пишу. Пытаюсь писать. Припоминаю рассказ о китайском мудреце, который по пути на Запад оказался на приграничном посту. Прежде чем получить дозволение пересечь границу, ему надлежало записать свои мысли. Чувствую себя почти как он.

Сегодня ночью мне тоже не спалось, но последний приступ головокружения миновал два дня назад. Руки больше не дрожат. Звук соприкосновения перьевой ручки с бумагой успокаивает нервы. Я буду рассказывать, *свидетельствовать*, о страннейшем годе моей жизни, и шестое чувство подсказывает, что следует поторопиться. Не столько потому, что я нетерпелива, но потому, что я боюсь. Может, стоило бы сначала помолиться. Я видела отблеск другой любви. Я видела новую «А».

В ту предрождественскую субботу, когда я поздним вечером шла домой от автобусной остановки, по-прежнему порошил легкий снег. Внезапно все стихло; темные улицы обезлюдели. Помню, что испытывала усталость. В то время я часто уставала. Обессилевала. И мерзла. Никто больше не засиживался в офисе так подолгу. Я, несомненно, слишком много работала. Так было всегда. И то время наверняка не было исключением: требовалось замаскировать то, что я занималась незначительными вещами, попусту растрачивала силы на незначительных людей. И к тому же слишком мало ела. Почти ничего. Измождение, тем не менее, не объясняет мою невнимательность тем вечером. Быть может, я задумалась о любви. Мне тогда казалось, что с ней покончено. Звучит напыщенно, но моя любовь в буквальном смысле обратилась в пепел. Если вдуматься, то меня скорее отвлекло воспоминание о золотой «А». Кольцо оживило амбиции, которые, как я тогда думала, были давно мертвы и похоронены. Возможно, мне даже *хотелось* их похоронить. Надежда на другой алфавит. Мечта о новой «А». О новой «L». До сих пор ни одна из начертанных мной «L» не могла меня удовлетворить.

³ *Ora et labora* (лат. молись и трудись) – девиз святого Бенедикта Нурсийского, который в 529 году основал монашеский орден бенедиктинцев.

* * *

В старопрежние времена в некоторых засушливых землях жила-была дикая кошка по имени «ларгодила», с длинной шеей и короткими лапами. Рассказывают, будто создатели письменности одного из племен, проходивших по Синайской пустыне, позаимствовали форму этого зверя для одного знака. Со временем тот, не без помощи финикийцев, превратился в букву L. А его изображение на скалах и вовсе появилось не раньше, чем ларгодила исчезли с лица Земли.

Авария случилась, когда я собиралась переходить небольшую, но оживленную улицу возле парка в паре кварталов от дома. Я зябла. Шла и размышляла о моей «L», полусердито, полувзвинченно гадала, а не была ли она просто «Е» минус две горизонтальные черточки, или все же самостоятельным знаком. И насколько длинной следовало проводить горизонтальную линию – в половину высоты или короче? В одном окошке висела необычно яркая рождественская звезда. Я шагнула на дорогу, когда для автомобилей загорелся желтый. Я не видела ни машин, ни людей.

Не заметила даже машину, которая меня сбила, почувствовала только, что меня подбросило в воздух, как крошечную искру из фейерверка, и что мой путь может завершиться где угодно. Я ничего не весила. И когда я была в воздухе, эти несколько секунд, будто под аккомпанемент тягучего звука бамбуковой флейты, когда думала, ощущала, что, наверное, умру, я увидела отсвет, отсвет чего-то сокровища, невыразимого и столь же узнаваемого – того, за чем я так долго остервенело охотилась, так отчаянно искала, но оттеснила на второй план и забыла. Увидела и поклялась, что начну сызнova, что не брошу мечту своей жизни, если выживу. Как я приземлилась, не помню.

Я была не здесь. В замкнутом пространстве.

В младшей школе орава мальчишек заперла меня в небольшой кладовке, мы звали ее «каморкой с картами». Они взялись за дело после уроков – ума не приложу, где раздобыли ключ. Кладовка находилась на последнем этаже, по соседству с нашим учебным классом, и, хотя я поначалу вопила что есть мочи, я знала, что никто меня не услышит.

Окон там не было – только узкий стеклянный прямоугольник над дверью. Я зажгла свет и огляделась. Белые стены. Некоторые карты висели на крючках, некоторые стояли по углам, подобно еврейским свиткам. Я оказалась наедине со всем миром – и все же он был для меня слишком мал.

На одной полке лежали коробки карандашей и тетрадки, но были там и фломастеры. Я взяла красный и принялась выводить одно и то же предложение на белой стене, раз за разом: «Хочу наружу. Хочу наружу.

Хочу наружу». Дедушка мне однажды рассказывал о персидском каллиграфе, который пытался сделать нечто подобное. Я писала медленно, корпела над каждой мельчайшей черточкой, сосредоточенно вырисовывала каждую из десяти букв, чтобы она обрела максимальную мощь. Меня поразило, до чего же они были непохожи, какой странной «о» была относительно «х» и «ч». Я почувствовала головокружение, будто знаки действовали на вестибулярный аппарат. Постепенно красными словами заполнилась вся стена. Вскарабкавшись на табурет, я добралась до самого потолка. Затем отступила на шаг назад. Поверхность походила на карту, на пейзаж. На мир, которого не было ни на одной из карт в комнате.

Как мало нужно, чтобы сотворить чудо?..

Взяв новый фломастер, я перебралась на следующую стену и продолжила заполнять все поверхности буквами. Вышло красиво. Я поняла, что слова – уже не слова. Отныне они цвет-

ные обои, орнамент. Фломастер убаюкивающе пах спиртом. Все вокруг покраснело. Я впала в этаким транс, будто и впрямь собиралась вписать себя в новое измерение. Или *выписать*.

Поздно вечером здание школы открыл охранник. «Интуиция, поди, сработала», – признался он потом. Он меня и нашел. Я дремала в углу. Всегда с тех пор думала, что его призвали мои письма. Все еще помню его мягкий голос, взволнованные ладони, которые обняли меня, как только я, давась рыданиями, бросилась ему в объятия. Я ощущала себя слабой. Как никогда слабой. Как будто потеряла много крови.

Сколько я проваливалась на спине в сугробе? Все вокруг было красным и пронзительно тихим. Я испытывала глубокое умиротворение. Никакой боли. Хотелось спать. Светящийся силуэт? Кто-то присел передо мной на корточки. Помню отчаянный голос. Мелодичный, мужской. Аромат свежего хлеба. Ясно помню, что кто-то трогал меня, проверял, нет ли переломов. Жива ли я. Кончики пальцев, что гладили меня. Мама в детстве: «Люблю тебя, сокровище мое». Теплые пальцы. Рука счистила с меня снег, пальцы тронули лицо так, как меня однажды трогал слепой настройщик фортепиано. Или по-другому. Незнакомец ласкал меня. Мягко, как дедушкина кисть для сусального золота. Рисовал ли он что-то у меня на лбу? Со мной такое уже случалось. Мне отчаянно хотелось, чтобы кто-то изукрасил мне лоб. Снова. Пересоздал меня. Дал мне жизнь. Я потеряла искру. Я умерла, я точно это знала, я знала это давно.

Очнулась я распластанной на больничной койке. Первая мысль – о его руке. О пальцах, ощупывавших мою физиономию. И снова: кольцо, отблеск золота. Алхимическое преображение. Меня порой разбирало любопытство, мог ли ребенок из христианской семьи помнить о кресте, который священник рисует на его лбу и груди во время крещения. Мгновение обретения имени. Своей самой первой истории. Приходя в сознание, я явственно чувствовала, что у меня на коже было что-то аккуратно высечено. Что меня вписали в новое повествование. Я неуверенно ощупала лицо, оглядела пальцы, будто ожидала увидеть на них золотую пыль.

Сказали, что некий мужчина вызвал скорую. Но когда машина приехала, врачам меня передавали две пожилые дамы. Они сказали, что водитель скрылся. Имени нашедшего меня они не знали.

Меня осмотрел врач. Серьезные повреждения отсутствовали. Да и несерьезные тоже. Речь шла больше о состоянии шока после полета в воздухе против моей воли. Плюс боль в боку, где в меня врезался автомобиль. Спросили, хочу ли я остаться в больнице. Я хотела домой. В голове маячила только одна мысль: разыскать человека, который ко мне прикасался, чтобы я – в ответ – могла положить на него свои руки.

Утром мой возлюбленный лежал нагишом и спал, пока его кожу освещало скудное зимнее солнце. Моим пальцам доводилось поглаживать мрамор «Давида» Микеланджело во Флоренции. Я прикасалась к известняковым ресницам «Спящего Будды» в святилище номер 158 в пещерах Могао у оазиса Дуньхуань в Китае. Проводила рукой по бронзе «Полулежащей женщины в драпировке» Генри Мура на Бонд-стрит в Лондоне. Но мои руки никогда не касались фигуры более изысканной. Стоит только подумать о его коже, и кончики пальцев начинает покалывать.

Воскресным утром я проснулась совершенно разбитой. Подойдя к зеркалу, оглядела раздвоенную синеющую отметину на бедре и на ляжке: тень, на удивление напоминающую контур Греции. Машина подкинула меня в воздух и подарила изображение средиземноморской страны на память. Поймала себя на том, что хихикаю. Отражение меня страшно воодушевило. После завтрака – а был ли завтрак? – я моментально очутилась у парка. Снегопад прекратился. В воздухе кружили только отдельные пушинки, так что я могла проследить за каждой из них взглядом. Снег лежал на деревьях, оградах, карнизах в невероятных количествах. И на всех припаркованных автомобилях. Атмосфера первого дня Рождества в детстве, когда

собираешься на улицу испытать новые лыжи или санки. Все казалось первозданным. Светлым. Многообещающим.

Я разыскала место, куда меня отбросило машиной, в самой глубине тротуара. Снег припорошил след от падения. Но на границе парка все еще угадывались контуры углубления. Виднелись отпечатки рук, разметавшихся, как у спящего, или как у ребенка, который делает на снегу ангела. Матрица, форма, по которой можно отлить мое тело вновь. Я изучила отпечатки ботинок вокруг с дотошностью криминалиста. Персонал скорой помощи? Но должны же там быть и следы того, кто меня обнаружил! В одном месте я вроде бы различила две более глубокие вмятины. Представила, что это оттиски его колен.

Влюбилась ли я в него уже тогда? По отпечатку? По двоеточию на снегу?

Я штудировала углубления, как важное послание. Коленопреклоненный мужчина. Отступила на несколько шагов и оглядела следы в поисках целостной картины. Хотя у меня и не было серьезных травм, осталось ощущение, что это он спас мне жизнь.

Я слишком долго ждала, что кто-то придет и спасет меня.

Я обязана его разыскать.

На следующий день я позвонила на работу и без обиняков сообщила, что увольняюсь. Не столь важно, над чем я тогда трудилась, так что не стану углубляться. То время кажется таким далеким, к тому же с тех пор я продала три миллиона экземпляров книг. Мое имя едва ли знакомо широкой общественности, однако начини я сейчас перечислять – или, вернее сказать, показывать свои работы, многие наверняка их припомнят. В тот год я получила ряд престижных премий. Как, впрочем, и в предыдущие годы. И тем не менее я уволилась. Не могу сказать ничего дурного о мире, который оставила. Вдобавок меня снабдили деньгами на долгое время вперед. Я ушла с работы не из презрения, я просто увидела, ощутила, другую «А». Я не только – много лет! – просуществовала в узком замкнутом пространстве, которое принимала за мир; меня стискивал слишком маленький алфавит.

Но давайте о хорошем: после аварии хроническая беспричинная усталость уступила место неустойчивости, жизнерадостной неутомимости, какой я не чувствовала уже давно. В придачу я ощущала открытость к новому, этакую ни-в-чем-не-уверенность, которая, по крайней мере тогда, действовала на меня стимулирующе.

Я включила компьютер, открыла окно выбора шрифтов и нажала на Cecilia – слегка пожившись от встречи после стольких лет разлуки. Шрифт был хорош, лучше, чем мне помнилось. Но тут же нашлось и что поменять. Особенно «i». Я вдруг ясно увидела, что точка парит слишком далеко от основного штриха, наподобие спутника, удаляющегося от своей планеты. Уставилась на «g». И о чем я только думала? Ухо⁴ как будто украдено у Микки Мауса. Рождались новые идеи. Взгляд стал до одури цепким. Я проработала несколько часов как заведенная, будто гонимая муками совести за все потерянное время. Я сохранила исправленный шрифт, он был готов к использованию.

Меня одолел голод. Я плеснула молока в миску с хлопьями, на другое времени не было. Не выпуская из рук ложку, я отыскала файл с парой глав «Анны Карениной». Снова замаячили воспоминания. Иоаким, мигающий свет, стертые слова. Опомнившись, я обрядила текст в шрифт, над которым только что работала, распечатала его и принялась один за другим изучать вылетающие из принтера листы. Что-то произошло. Суггестивная сила слов возросла. Отдельные буквы поблескивали, как «А» из трамвая – притягивали взгляд, манили сокрытой сутью. Я читала о поезде и ощущала едва заметное, вибрирующее желание отправиться в путешествие, будто текст сиюсекундно порождал во мне эту тягу. Может, я вдобавок слышала и тоскливый

⁴ Похожий на каплю штрих в верхней части латинской буквы g.

паровозный гудок? Я была возбуждена и напугана. Больше второе. Я уж и позабыла, до чего беспокойной делаюсь всякий раз, когда принимаюсь за свои изыскания.

Позже тем же вечером я нашла папки с черновиками, рисунки и заметки, целые короба, оставшиеся от моего старого проекта – чуть не сказала «моей настоящей работы», того, что, как я годами надеялась, станет делом моей жизни. Я разглядывала распечатанные выборки художественных текстов, глав, которые на первый взгляд казались идентичными, но знаток отметил бы, что они набраны разными шрифтами. Столкновение, воздушное путешествие – а может, он, мужчина, чьего лица я еще не видела, – что-то во мне пробудил. Я представляла его пальцы на своей коже, легкое, волнующее, теплое прикосновение, представляла свое спасение – получится ли создать шрифт, который вызовет схожую эмоцию в сознании читателя? Может, на самом деле именно это и занимало меня все время; шрифт, который может дать жизнь. Спасти жизнь.

Когда я перешла в восьмой класс, школу терроризировала группа будущих выпускниц. Их все побаивались, даже учителя. В том числе физически. Однажды осенью они впечатали меня в угол и осведомились, «чего это я так странно себя веду».

– А я странно себя веду? – осторожно переспросила я.

– Угу, – ответила заводица, – ходишь такая, вся из себя, типа Клеопатра.

Она ткнула пальцем в мою прическу и вычурный макияж глаз, который, верно подмечено, был вдохновлен Клеопатрой, то есть Элизабет Тейлор в роли царицы Египта. Сдернув с меня рюкзак, девчонки принялись в нем копать, как будто искали там объяснение. Одна из них заметила тетрадь с переписанным набело сочинением. Остальные сгрудились вокруг. Все молчали.

– Вот это да! – внезапно выпалил кто-то. – Это ж надо так красиво писать.

Теперь они смотрели на меня по-новому, с уважением что ли.

– Напишешь за меня любовную записку? – спросила главная, то ли в шутку, то ли всерьез. Они сунули тетрадку обратно и зашагали прочь. Мой почерк, мой шрифт меня спас.

Вечер. Я у экрана компьютера. Только голова повернута прочь от монитора, как от лампы. Я нацелилась его найти. Я обязана его найти. Фоном звучит сякухати, меланхоличные ряды звуков с шелестом дыхания. Я разыскала старые диски: еще с тех времен. У меня с десятков CD с записями японских бамбуковых флейт, наверное потому, что звук напоминает мне шрифт – знаки, написанные легким, но уверенным движением кисти. Чем дольше мои глаза скользили по содержимому папок, результатам многолетних проб и ошибок, тем больше я убеждалась, что, работая в рекламной сфере, я долгое время пользовалась алфавитом напрасно. Или что надругалась над шрифтом, шла на что угодно, лишь бы его заметили. Принуждала буквы к стриптизу. Слишком долго я искала легкой жизни. Мои удостоенные премий кампании впору сравнить с бумажными самолетиками, которые мы с бабушкой искусно складывали из газетных листов. Мне вспомнилось, как мы запускали их прочь со скалистого утеса за домом и как это было занятно: листочки, полные сложенных в бессмысленные предложения слов, парят в воздухе, а потом бьются оземь. Шрифт на краткий миг обретал крылья, да только напрасно – пустая игрушка, все забавы ради.

При виде ранних попыток мой взор заволокло пеленой ностальгии, будто смотришь на старые любовные письма, которые решила сохранить, хоть они и наивны; и я вспомнила, о чем мечтала: о том, что шрифт будет работать в тишине, в глубине. Когда-то я знала, что шрифт – весом. А потом предала свой собственный опыт.

Нигде я не чувствовала себя дома больше, чем у бабушки в Мемфисе, среди молотков, киянок и зубил всех мастей, среди оселков, обдирочных кругов, банок и склянок, угольников и линеек и предметов, о назначении которых я могла только догадываться. Мне было хорошо среди камней разных пород, которые стояли под длинным навесом снаружи. Осо-

бенно мне нравился мрамор «Норвежская роза» из Фёуске. Еще когда я была совсем крохой, дедушка научил меня узнавать основные созвездия, выкладывая поблескивающие мраморные осколки на черной тряпице. Он рассказал мне о небе над пустыней недалеко от Каира, где полным-полно световых точек, аж страх разбирает. Возможно, именно поэтому я думала, что камни, с которыми работал дедушка, были как-то связаны с небом, со звездами.

Элиас Йенсен тем не менее считал, что мрамор переоценивают. Слишком он непрочный.

– Потрогай, – он проводил пальцами по кромке камня. – Как кубик сахара.

Дед ценил гранит превыше других минералов. Он вырос рядом с гранитом. Его отец управлял небольшой каменоломней. Но лучший гранит был все-таки в Швеции, черный, плотный камень.

– Уж в чем в чем, а в этом шведам можно и позавидовать, – говаривал дедушка. – Одно удовольствие с ним работать. Никаких тебе сюрпризов.

В дедовой мастерской я была в другом мире. Он сам звал ее Мемфисом, в честь египетской столицы времен Древнего царства. Другие знали ее как «Элиас Йенсен Монумент». Все, кто в то время ездил из Осло в Тронхейм, помнят вывеску перед зданием и навесы прямо возле магистральной автодороги. Я долго думала, что дедушку звали Монумент. Да он и *был* монументом.

После уроков я старалась забегать в Мемфис как можно чаще. В мастерской дед неизменно облачался в просторную *галабею* поверх сорочки и брюк – длинную, широкую, похожую на шлафрок рубаху из хлопка, которую носят в Египте. Цвет, когда-то темно-синий, сейчас выгорел и вылинял. Мне всегда казалось, что необычное одеяние делало дедушку похожим на монаха, склонившегося над камнем с молотком и зубилом. Или на скульптора в рабочей одежде. А летом, когда он шагал домой и ветер заставлял хлопковую ткань трепетать, он напоминал бедуина. Элиас Йенсен был всем сразу: монахом, ваятелем, кочевником.

Мне нравилось наблюдать, как дед работает, или слушать его приглушенное бормотанье, когда он плескал себе черного, подслащенного кофе из выдавшего виды термоса и ел заботливо приготовленную дома снедь: хлеб с яйцом и анчоусом, украшенный веточкой петрушки, или грубый печеночный паштет – который он делал сам, – увенчанный половинкой оливки. Дедушка относился к еде со всей серьезностью. Но, как правило, он не прерывал работы, когда я приходила. Преисполненный перфекционизма и гордости за профессию, он работал над памятниками с благоговением.

Мне не было видно глаз, только белые кустистые брови, как крылья на его лбу.

– Я открываю суть камня, – бормотал он вполголоса, врубая в плиту буквы одну за другой.

На начальном этапе работы он выводил надпись на листе бумаги, в натуральную величину. Я никогда не понимала, как ему удавалось очертить буквы настолько точно. Он умел воспроизводить множество шрифтов, от начертания, схожего с надписями на древнеримских колоннах и триумфальных арках, до того, что можно было принять за филигранный почерк. Клиентам он показывал тетрадь с образцами. Если у родственников не было предпочтений, дедушка выбирал те варианты, что нравились ему самому. Листок с именем и датами он приклеивал на камень, а затем выбивал орнамент сквозь бумагу. Примостившись рядышком, я восхищенно наблюдала, как *скарпель*⁵ плясала под шустрыми ударами киянки, как красивый v-образный срез постепенно становился видимым, пока дед то и дело сдувал пыль. Временами он прерывался, чтобы подточить скарпель, или выбирал более острую для работы над тонкими линиями, которые он звал «серифами»⁶.

– Заруби на носу, принцесска, шерифы тут ни при чем.

⁵ Скарпель – инструмент для обработки камня в виде стального стержня, расширяющегося с одного конца. Внешне напоминает долото.

⁶ Сериф – короткий, обычно перпендикулярный штрих на конце буквы, с которого начинается и которым заканчивается основной штрих знака в антиквенных шрифтах. Также называется «засечка».

Подобное обращение с камнем с одной стороны и шрифтом с другой преподавало мне урок истории в кратком изложении; я осваивала каменный век и высокие цивилизации одновременно. Дед формулировал это по-своему.

– Это вам не какая-нибудь мастерская, – сказал он как-то, поправляя синюю *галабею*. – Это ателье. Я художник.

Он взмахнул рукой в сторону завершенных каменных плит вокруг нас.

– Были частью природы, а стали частью культуры.

* * *

В 1709 году немецкий мореплаватель и первооткрыватель Клаус Гумбольдт причалил к острову к западу от Макасарского пролива, куда до той поры не ступала нога белого человека. Проведя некоторое время среди туземных рыбаков, корабельный переводчик рассказал Гумбольдту, что те поклоняются могучему богу, сидящему в каменной глыбе. В камне был якобы заключен замысловатый волшебный знак, и легенды гласили, что тот способен творить чудеса. Когда Гумбольдт и его компаньоны достигли столицы острова, вождь показал им тропу к святыне, камню с изображением, которое, если верить вождю, было там с начала времен. Гумбольдт не мог скрыть изумления, ведь он лицезрел тщательно выбитую антиквой литеру Е в человеческий рост. И столь же ярко – эта сцена чрезвычайно живо описана в мемуарах Гумбольдта – он ощутил пугающую мощную силу, что струилась от камня.

В Мемфисе я нередко усаживалась на скамейку возле деда и, наставив скальпель на кусок камня, била по ней киянкой, упражнялась, пытаясь заставить инструмент двигаться ровно, чтобы основной штрих букв сразу же вышел нужной толщины. Мне нравился запах каменной пыли. Он остался во мне. Позже, когда я создавала буквы на экране компьютера, мне зачастую чудился запах каменной крошки. Он укрепил мою веру в то, что мимолетное, электронное может обратиться в нечто надежное и долговечное.

Когда мне исполнилось десять, я наконец сумела выбить достаточно удачную «А». Не знаю, почему я так часто бралась именно за нее. Наверное, подсознательно что-то искала. Что-то первичное. Не знаю.

– Не все алфавиты начинаются с «А» – заметил дед, будто угадал мои мысли. – Например, эфиопский. А что до рунического, там и вовсе впереди стоит «F».

Он тут же спросил, могу ли я выбить «А».

Я с жаром принялась за окружность над «А», но стоило мне как следует стукнуть, как точка внутри окружности откололась. Дед ухмыльнулся и давай меня поддразнивать.

С тех пор я ненавижу «А». Может, потому, что она – конец алфавита. Как смерть.

Что напишут под конец? То, что было первым?

Если клиенты хотели заказать мемориальную надпись, но не знали, что написать, дед всегда предлагал одно и то же: «Нет ничего сильнее любви». Не счесть, сколько раз я наблюдала, как дед врезал эти слова в камень, обращая их в золото. Неудивительно, что с тех пор я много ждала от любви. Столько повторений одной и той же фразы. Так много золота. Я ждала от любви невозможного.

III

Время после аварии шло, а чувство потрясения не притуплялось. И неустойчивости. Я побывала на пороге смерти, но меня позвали назад. Рождество выдалось необычным, на этом празднике я была у мамы с папой, но будто бы меня здесь и не было, хоть я и исполняла череду ритуалов и пела псалмы, как делала уже тридцать пять раз до этого. В слове «Евангелие», которое все вокруг повторяли неустанно, пульсировал новый смысл, наполнявший меня смятением.

Строчки рождественских гимнов, будь то «Божий сын пеленами повит в Вифлеемском вертепе лежит» или «Прекрасен путь души-скиталицы», приводили меня в замешательство. Я затруднялась с ответом, когда меня о чем-нибудь спрашивали. Удар о капот лишил меня равновесия на всех уровнях: отныне я сомневалась во всем. Будто бы я – уж и не припомню когда – приняла мощную таблетку радости, и ее действие только-только начало сходиться на нет.

Сразу после Нового года я заскочила в офис прибраться. Отдельный пункт в моем рабочем контракте предусматривал, что я могу взять окончательный расчет, когда захочу. Я бродила среди музыкальных автоматов, настольного футбола, комнат отдыха – всех этих престижных и сверхмодных атрибутов – и знала, что скучать по ним не буду. Коллеги интересовались, что я планирую делать после «карантина». Конкуренты, небось, переманили? В их голосах слышался едва скрываемый страх. Причины беспокоиться у них были. Я была талантливой. Лучшей. Я была шрифтовой акробаткой.

Никому и в голову не могло прийти, что взрослый, твердо стоящий ногами на земле человек намеревается посвятить все свое время рисованию «а», «с», «g», «t» – букв, которые заставят нейронные связи в мозгу читателя заискриться доселе невиданным образом.

Кем же он был? В-третьих, мне удалось разузнать, что он снимал помещение магазина.

Когда меня забирали на скорой, я заметила знакомую пожилую даму благодаря яркой шали. Мы жили в одном дворе. Однажды вечером я позвонила ей в дверь. Неужели она и впрямь ничего не знает о нашедшем меня мужчине? Должно быть, мое лицо выражало величайшее напряжение, потому что она успокаивающе положила ладонь мне на руку. Повторила, что имени не знает, но полагает, он управляет магазином где-то в нашем районе. Да-да, тем самым, что недавно открылся. Объяснила мне, где именно. Я попросила растолковать еще разок. Она так и сделала, терпеливо, как будто сознавая, что собеседник не блещет умом.

Моя квартира находилась к востоку от реки, в той части города, что за несколько последних десятилетий изменилась особенно резко. Прежде здесь был типичный квартал рабочего класса, теперь – самые престижные жилые районы столицы. Пожилых людей становилось все меньше, в то же время старые предприятия и заведения уступали место крошечным барам и кафе, этническим ресторанам и эмигрантским магазинам. Там продавались овощи, о которых еще несколько лет назад никто даже не подозревал. Модные заведения открывались и стремительно закрывались, так быстро, что и не уследишь.

День выдался холодным, я сильно мерзла. Я мерзла всегда. В последние годы даже летом. Не знаю, с чего бы. Может, из-за нехватки витаминов, но меня это мало заботило. Сначала я стояла на другой стороне улицы и рассматривала фасад магазина. Мне не доводилось видеть его раньше. Насколько я помнила, всего несколькими месяцами ранее там находился дорогой парикмахерский салон – одно из тех мест, где можно смотреть телевизор на маленьком мониторе, пока тебя стригут. Новый магазин назывался «Пальмира». Вывеска была лаконичной, и хватало беглого взгляда, чтобы приметить в буквах что-то арабское.

Перейдя дорогу по диагонали, я заглянула в окна. И нашла глазами человека, который, по моему разумению, спас меня от смерти.

Я разглядываю это слово. Смерть. Вижу, как буквы перестают друг за друга цепляться, как слово утрачивает саму возможность быть понятым. Как, скажите на милость, мне в полной мере передать, через что я прошла? Хочется сказать: что меня *постигло*! Не будет ли все это звучать так, будто я неприлично много о себе думаю? Раньше у меня был отбойный молоток, и выемка ценных минералов не представляла труда. А теперь приходится проделывать то же самое тупой киркой. Однако предположим, что у меня в распоряжении появился инструмент получше – помог бы он? С-м-е-р-т-ь осталась бы смертью.

Несмотря на шум снаружи, внутри тихо. Стены и окна хорошо изолируют. Мне нужно себя изолировать. Нет-нет да и прижму ладони к голове, как будто боюсь, что она лопнет. Уже не раз приходила в себя и осознала, что которую минуту в упор смотрю в стенку, а может, на деревянный плинтус, завихрение в узоре дерева, два завитка – точь-в-точь логотип «Ситроена». Поддаться соблазну отвлечься – проще некуда. Телефон – тоже постоянное искушение. Руки так и чешутся набрать номер, но я удерживаю себя. Ежевечерне в напряжении сажусь перед телевизором, чтобы посмотреть «Дагс-ревюен», будто думаю, что там упомянут мой подвиг.

Ведь должна же была новость о нем просочиться в вечерние известия. Вчера я купила газету. Из статьи о событиях недельной давности стало понятно, что ровно десять лет назад пала Берлинская стена. Юбилей внезапно показался мне таким незначительным. Всего-то неделю назад я обрушила куда большую стену.

Будь ко мне снисходителен. Прояви терпение. Я ревностно веду свой верный «Омас Парагон»⁷ по бумаге. Я дала себе столько дней, сколько граней на корпусе у перьевой ручки: двенадцать. Двенадцатидневную отсрочку. Я нахожусь на самом оживленном перекрестке в стране, в здании в форме полумесяца. В монастыре. Другие называют его гостиницей. Я в бегах. Прячусь. Или охота предстоит мне. Не знаю. Я знаю только, что прежде всего мне нужно дать свидетельские показания. Что времени и в достатке, и в обрез. Я пережила нечто, чего никто не переживал. Но – и это придает мне сил – возможно, переживет в будущем. Просто я стала первой.

Магазин больше походил на кафе. Сравнительно небольшое помещение. Несколько столов, стулья. Стекланный прилавок. День клонился к вечеру. Из посетителей никого не было, кроме молодой пары, сидевшей за одним из дальних столиков с белыми чашками перед собой. Tete-a-tete. Не разглядеть, воркуют или целуются.

Я содрогалась от холода. Снег совсем заледенил мне ноги. Я отворила дверь и зашла. Отчего-то интерьер показался византийским, но комната на самом деле была простой, если не сказать: классической. Я уловила приглушенные звуки джаза, фортепианное трио, пятидесятые. Меня обдало вожденным теплом, смешавшимся с ароматом выпечки. На долю секунды на полу проявились красные следы кошачьих лап, ведущие к прилавку. На прилавке – и на полках за ним – лежали буханки и куски пирога. Выпечки осталось немного, но выглядела она на редкость привлекательно.

Необъяснимо, но я ощутила наэлектризованную атмосферу в помещении. Будто невидимые оголенные провода у меня над головой вдруг заискрили. Я зарегистрировала напряженную бдительность, *голод*, который не имел ровным счетом никакого отношения к еде, и поняла, насколько глубоко я тосковала по этому состоянию, только тогда, когда оно снова возникло.

Женщина за прилавком расплылась в улыбке. Немного двусмысленно, будто в то же время была начеку. Она напоминала другую, мою былую подругу. Те же кошачьи глаза. Из под-

⁷ «Омас Парагон» (ит. Omas Paragon) – модель перьевой ручки итальянской фирмы «Омас», основанной в 1925 году. Компания славится своими высококачественными и дорогими пишущими принадлежностями.

собной комнаты донеслись звуки. Я вообразила, что это был тот, кого я искала. Незвестный принялся мурлыкать под нос мелодию, наложил английские слова на песню, которую я спудно узнала в джазовых гармониях, «My Melancholy Baby»⁸. Не тогда ли я стала одержима? Из-за мурлыканья, музыкальности в его голосе? Не знаю, правильно ли я помню. Больше ни в чем не уверена. Я иногда думаю, что все бы отдала, лишь бы никогда не открывать двери в то кафе. Женщина вперила в меня свои кошачьи глаза и адресовала мне вопросительный жест. Я смешалась, пролепетала невнятные извинения и попятилась к выходу. В то же время ароматы вызвали в памяти образы. Их центром был дедушка.

* * *

Королю Вольдемару предстояло возглавить грандиозный военный поход. В ночь накануне выступления во сне ему явился ангел. Ангельский глас возвестил, что ни одному врагу не удастся устоять перед натиском армии короля Вольдемара, при одном лишь условии – некий город надлежало обойти стороной. На рассвете король силился вспомнить, как то место звалось, но тщетно. Желая рассеять тревогу, он отправился прогуляться на берег реки. Пустив вороного трусой, с головой уйдя в свои мысли, он клял свою забывчивость. Но стоило ему обернуться, как взгляд его упал на отпечатки подков на песке UUUU. Он вспомнил имя города, Uri Jurig, или Уру Джупур.

У деда я была в своем собственном королевстве, и звалось оно Сесилией.

Дед жил в старом доме неподалеку от опушки леса в нескольких сотнях метров от гранитной мастерской у государственной магистральной автодороги. Жилье некогда было настоящей усадьбой со своим хозяйством, и пара других строений по-прежнему стояла на том клочке земли – по-дедушкиному «в Фивах». Если бы меня спросили, где я чувствую себя по-настоящему дома, я бы назвала это место – не чета району со стройными рядами домов, где я выросла. В моем детском королевстве были я, дед да кот Рамзес.

Дедушка хорошо пек. Коль скоро Фивы лежали на моем пути домой из школы, я забегала к нему в те дни, когда он рано заканчивал работу в мастерской, чтобы заполучить ломоть его хлеба. Все, даже покупной хлеб с той же нарезкой, что и дома, было у дедушки вкуснее – потому что приготовлено «любящими руками», как он выражался. А на десерт мне выдавалась конфета из пузатой стеклянной банки, где хранились карамельки всевозможных цветов. Я думала, это как-то связано с нежностью, которую дед испытывал к камню, что они казались мне минералами, которые можно грызть; я держала их на свет и видела сапфиры, рубины, смарагды. Долгое время для меня не было ничего восхитительнее банки с карамелью.

У деда в запасе были и другие яства. Например, черничный пирог или апельсиновые маффины. А еще блинчики, вафли, сладкие гренки или что там еще ему могло взбрести в голову подать к столу. Дед следил, чтобы я ела. Его кухня всегда ломилась от еды. На то были свои причины.

До того, как стать камнетесом, Элиас Йенсен был моряком. *Галабея* не врал: он был своего рода бедуином. Он начал нести морскую службу на палубе, но окончил в камбузе, когда судовой повар дал дёру. Это ему подходило, ведь дед вынашивал мечту стать поваром с тех самых пор, как прочел об Адольфе Хенрике Линдстрёме, знаменитом поваре-полярнике. В детстве он грезил, что сможет подавать забористые северные деликатесы, будь то стейк из овцебыка à la Свердруп с оладьями, строганина из тюленя или суп из морошки.

Со временем Элиас Йенсен дослужился до старшего стюарда и следил за качеством провианта уже в куда более теплых и приветливых частях света, чем доводилось Линдстрёму. Время от времени я слушала байки о насыщенных событиями годах, проведенных в море, о

⁸ Моя грустная малышка (англ.).

войне с червяками и тараканами пострашней орд Чингисхана, о дедовых фирменных блюдах вроде бакальяу⁹ или супа минестроне, какому позавидуют даже итальянцы. В те времена у них, само собой, не было морозилки, только ящики со льдом, и когда лед таял, морякам приходилось хранить продукты, прибегая к другим методам. Нередко только что закупленное свежее мясо вывешивали вялиться на верхушку мачты. «Самый что ни на есть пиратский флаг», – говаривал дедушка.

Однажды корабль пробыл в море значительно больше времени, чем предполагалось, и команде в конце концов пришлось питаться скудным провиантом из спасательных шлюпок. У меня сложилось впечатление, что дед из мистических соображений страшился повторения этой постыдной истории. Так это или не так, но его кухонные шкафы всегда были полны снеди. Полки гнулись под весом консервов, банок с вареньем, печеньем и сухим молоком. Кухня и сараи были оснащены как на случай ядерной войны или кругосветного путешествия. И, тем не менее, он все еще нервно говорил о цинге и о таких ужасных болезнях, как бери-бери¹⁰, а затем потчевал меня калорийной едой, овощами и фруктами. У бабушки я научилась не только солить огурцы и готовить повидла всех мастей, но и овладела искусствами, которые более никому не были подвластны, – например, носить четыре большие тарелки одновременно или стелить скатерть, параллельно срывая со стола прежнюю.

Дед купил Фивы, знакомую ему с детства усадьбу когда женился, – может, потому что ему, матросу, хотелось иметь нечто, что напоминало бы о земле, о корнях. Что-то не плавающее. К тому же отцовская каменоломня располагалась неподалеку, и со временем дед унаследовал и ее.

Элиас Йенсен в основном ходил в восточной части Средиземного моря, или «Внутреннем Средиземноморье», как он сам говорил. Благодаря ему я много знала о таких местах, как Валлетта и Пирей, Фамагуста, Бейрут и Александрия, – и о том, что следует захватить с собой из Северной Европы, а что можно купить в разных гаванях. Из-за средиземноморских плаваний у деда появились специфические привычки в еде. Он пересыпал речь словами «креветки скампи», «луми»¹¹ и «тапас с артишоками» задолго до того, как я услышала их от других. Через своих знакомых в Осло ему удалось договориться о регулярной поставке необычных сортов сыра фета и абрикосов, свежих фиников и инжира. Когда он пробовал оливки из только что открытого ведра, он всегда удовлетворенно щелкал языком и приговаривал: «Олива – на столе султан».

В гостиной высился шкаф-витрина с сувенирами, собранными в портах Средиземного моря, и все как на подбор со своей особенной – а если время позволяло, то и длинной – историей. Пожалуй, перед этим шкафом я безотчетно ощущала то же, что и впоследствии перед монитором, когда искала что-то в интернете: безграничное древо возможностей. Возле шкафа стоял корабль со звучным именем «M/S Baalbek»¹², метровая модель корабля судоходной компании «Фред. Ульсен»¹³, на котором дед служил в последний раз: суденышко, пригодное для долгого плавания по собственному сознанию. Я упоминаю все это, чтобы подвести к наиболее существенной черте личности Элиаса Йенсена: любознательности. Его невозмутимые вкусовые рецепторы. Его восторг от того, что он живет. Во время войны он, сдавленный страхом,

⁹ Бакальяу – рыбный продукт, получаемый методом холодной сушки, солено-сушеная треска или пикша. В португальской кулинарной традиции известен под именем «бакальяу», также распространен в других странах Средиземноморья (Испания, Италия) и Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Куба) под наименованиями «бакало» и «баккала».

¹⁰ Бери-бери – болезнь, возникающая вследствие недостатка тиамина (витамина B1) в организме человека.

¹¹ Луми – сушеный лайм.

¹² M/S (норв. motorskip) – аббревиатура, которая ставится перед названием судна в Норвегии и обозначает, что оно является теплоходом. Все упомянутые в романе суда существовали в действительности.

¹³ «Фред. Ульсен» (норв. Fred. Olsen & Co.) – норвежская судоходная компания, основанная Фредериком Кристианом Ульсеном в 1848 году.

ходил в сопровождении конвойных судов между Америкой и Европой. Он неоднократно рассказывал – при особо торжественных случаях, то и дело поднося платок к глазам, – о конвое, который снялся с якоря в Исландии в 1942 году, и о том, как 26 из 33 кораблей пошли ко дну, не успев достигнуть берегов Архангельска. Он сам уберется только благодаря спасательной шлюпке, в которой провел несколько суток – без возможности прибегнуть к аварийному сухому пайку. Утонула добрая половина команды. Об этом он говорил неохотно, но если уж заговаривал, в его рассказах сквозила неизбывная тоска, едва слышные причитания о грохоте взрывающегося корабля, о запахе горящего масла, о воплях тонущих товарищей.

После войны Элиас Йенсен сошел с корабля и взял на себя управление отцовским предприятием. Ему было необходимо встать на якорь. Хватит бродить по морям.

Временами дед садился и устремлял взгляд в пустоту. Как будто слышал зов. Или видел что-то, чего не видели другие. Тогда морщины становились глубже, а снежная борода враз делалась жидкой бородашкой. Затем он открывал шкаф и делал несколько глотков из бутылки с водой. После этого ему, по моим наблюдениям, мигом становилось лучше.

Когда я оставалась ночевать, то иной раз просыпалась среди ночи от крика. «Не умирай! Не умирай!» Я никогда не задавала вопросов. Догадывалась, что деда одолевают кошмары, что во сне его корабль снова и снова рассекает торпеда.

Как мало нужно, чтобы творить чудеса?

Однажды зимним утром я лежала, уткнув нос в шею возлюбленного. На окно давили двадцать градусов мороза. Я сползла вниз под одеялом, чтобы лежать, прижимаясь щекой к его еще слегка влажной спине и наслаждаться нежно-вкрадчивым мускусным ароматом кожи и пота. Так пахнут самые дорогие, манящие, духи. Я думала, он спит. Вдруг он ни с того ни с сего заговорил о Спящей Красавице, о том, что эта сказка вовсе не о взрослении и не о первой менструации, как считают некоторые взбалмошные литературоведы. Он говорил, что это – история об ожидании любви. Что если тот, кто по-настоящему ждет любви, умирает, поцелуй способен снова пробудить его к жизни.

Мимолетного поцелуя достаточно. Поцелуй может побороть смерть.

Я велела ему замолчать, за незанавешенным окном стояла рань и темень.

– Дурачина, – сказала я и поцеловала его между лопаток. – Спи.

Вечером того дня, когда я впервые заглянула в «Пальмиру», я сидела за монитором и изучала «к». На заднем плане звучали одинокая бамбуковая флейта, обратившееся музыкой дыхание, дзен-медитация в форме нот. Я уложила «к» набок, затем перевернула. Вглядывалась в только что напечатанные главы «Анны Карениной», в каждую «к». Спонтанно схватила фломастер и закрасила буквы желтым. Мне вспомнились дедушкины «алхимические» опыты в гранитной мастерской, золочение имен умерших. Что, если бы я могла сделать что-то подобное? Вот бы незатейливые черные буквы на книжной странице смогли преобразиться в знаки из золота – создать ощущение золота – в сознании читателя!

Я завелась. Меня влекло наружу. Накинув куртку, я вышла и сразу же устремилась к кафе. Быть может, мне хотелось услышать приглушенный джаз пятидесятых. А может, увидеть нержавеющей сталь. Возможно, вдохнуть запах выпечки, возможно, услышать, как кто-то поет себе под нос.

Я не знаю. Ничего не знаю.

До полуночи было еще далеко, но дверь в кафе была заперта. Внутри все тонуло во мраке. Комната казалась пустынной, голой, как будто там отродясь никого и не было. Пожилой мужчина поравнялся со мной на тротуаре, остановился и поднял взгляд на вывеску.

– Пальмира? Это часом не оазис такой?

Он подмигнул мне. Оазис? Меня посетила мысль, а не мираж ли мне привиделся. Может, я просто выдумала это кафе? Потому что горько тосковала.

Мне необходимо кое-что сказать о любви. О том, что именно я звала любовью. Я, как уже говорилось, ждала от нее многого. Наверняка именно поэтому я влюблялась так часто. Потому что так сильно надеялась. Я всегда хотела пережить то, что зовут «пламенной любовью», и долго думала, что обрела ее в отношениях, которые оборвались той же осенью, когда меня сбила машина. Меня застигли врасплох. Мы познакомились в баре, излюбленном месте встреч столичного бомонда. Я определенно принадлежала к среде столичного бомонда. В кои-то веки я сидела одна и наблюдала за вращением трубочки в высоком бокале обжигающего «Лонг Айленда» и вдруг ощутила на себе чей-то взгляд. Или не взгляд. Меня что-то *пронзило*. Бар был длинным, немного S-образным, со светящейся барной стойкой. Он сидел на другом ее конце. Хотя между нами мельтешили люди, я поймала на себе его взгляд. Сосредоточенный, как лазерный луч. Сначала я, как ни в чем не бывало, просто наслаждалась тем, что меня так пристально разглядывают. Наслаждение сильно превосходило опьянение, которое давали пять «белых» типов алкоголя¹⁴ в коктейле. Но вот что-то во мне вспыхнуло. Обойдя помещение, я нашла предлог – изощренную реплику, – чтобы занять место на барном табурете возле него, и думала, что ослышалась, когда он после нескольких вводных фраз объявил, что работает осветителем. Какое слово. О-свети-тель. Временами мне думалось, что я была с ним исключительно из-за этого. Я находилась в фазе, отмеченной – частично осознанным, частично нет – разочарованием, как в профессиональном, так и в личном плане. На пороге легкой депрессии. Я ухватила за Софуса как за лекарство, мне нужен был его свет – я жаждала просвещения во всех смыслах.

Софус был во многих отношениях хорошим человеком – несебялюбивым, заботливым – к тому же обладал способностью воодушевлять и воодушевляться самому. Он также был намного больше среднего увлечен искусством. Благодаря ему я осознала, как тоскую по временам в Национальной академии художеств в Осло, по возможности вновь рассуждать о проблемах и фундаментальных концепциях. В моей рутинной, заточенной под нужды рынка работе мне редко приходилось рассуждать.

Софуса, что неудивительно, более всего занимал свет на живописных полотнах. По пятницам он умыкал меня из офиса, чтобы взять с собой, например, в Рим и поводить за собой по темным церквям, где он клал монетки, чтобы ему позволили зажечь лампы перед полотнами Караваджо. Он мог рассуждать об исполненных драматизма и внеземного света картинах Педера Балке¹⁵ с видами Северной Норвегии или о мерцающих венецианских акварелях Уильяма Тернера. Софус говорил и говорил, а я его слушала. Его воодушевление было заразительно. Я ощущала себя в вербальном солярии.

Когда мы впервые занимались любовью, луна висела на небе удивительно близко. Лунный серп образовывал мою заглавную букву, чтобы сказать, что небо – мое. Я истолковала это как знак. Это наконец-то должна быть любовь. И стиль Софуса в постели укреплял меня в этой вере. Он действовал как японский художник, как мастер¹⁶. Сначала он стоял или сидел передо мной обнаженным, и его эрекция не оставляла сомнений в том, что он в высшей степени готов к действию. Но только как следует изучив мое лицо, как натуру, тщательно впитав и сохранив

¹⁴ В состав коктейля «Лонг Айленд» традиционно входят пять алкогольных ингредиентов: водка, светлый ром, текила, джин и ликер «Куантро». Все они выглядят прозрачными и относятся к так называемому «белому» типу алкогольных напитков (alcohol blanc, *франц.*) в отличие от «темного» алкоголя (alcohol brun) – например, коньяка и виски.

¹⁵ Педер Балке (1804–1887) – норвежский художник, мастер пейзажной живописи.

¹⁶ В японской традиционной живописи тушью Суми-э мазки наносятся быстрыми, уверенными движениями кисти, а эскизы отсутствуют.

в памяти самую суть, он стремительно наносил уверенные мазки на лист, то есть на мое тело. Про себя я звала это «художественным сексом».

Сила Софуса была, однако, и его слабостью. Его взаимоотношения со светом утомляли. Это было безусловным преимуществом в его работе на театральных подмостках, где его знали как человека, способного осветить лицо актера так, что публика увидит даже выражение глаз. Но в повседневной жизни это могло раздражать. Зайдя в комнату, он нередко переставлял лампы. Он требовал, чтобы мы уходили из ресторана посреди приема пищи, если больше не мог выносить неправильное освещение. Я быстро смекнула, что у этой мании была и обратная сторона. Софус был ревнив. За гранью разумной ревности. Когда мы сидели друг против друга и болтали, он неизменно был тиранически зациклен на том, чтобы свет правильно падал мне на лицо. Ему необходимо было видеть глаза. Не потому, что ему хотелось насладиться их редким голубым цветом – дед утверждал, что, глядя в них, думал о ляпис лазури, – но потому, что он хотел видеть, не скрываю ли я от него что-то. Я говорила, что он может на меня положиться. Он был подозрителен и до смерти боялся, что что-то в моей жизни не освещено его прожекторами. Думается мне, что именно этот его страх заставлял его любить меня более грубо, так что художественный любовный акт со временем превратился во что-то животное. Его эрекции больше не вдохновляли меня. В них появилось нечто монструозное, угрожающее.

Но вернемся к его положительным качествам. Софус коллекционировал русские иконы. Не думаю, что они были особенно старые или особенно дорогие, но на стенах их было в изобилии. Его впечатлял их внутренний свет.

– Икона – сильнейший знак из всех существующих, – утверждал он.

Софус пространно рассказывал мне о технике иконописи, об иконных досках, грунтовке левкасом, прориси, росписи творёным золотом и ассисте, о темперных красках.

– Икона – это не картина в западноевропейском понимании, – вещал он. – Икона на тебя *смотрит*. Или обращается к тебе.

Поначалу я жадно ловила каждое слово, но со временем снова и снова повторяемые формулировки и толкования набили оскомину. Будто день за днем ходишь по музею с одним и тем же гидом. К тому же я все явственней ощущала расхождение между страстью Софуса к религиозным изображениям и его личными духовными свойствами. Что-то в нем все-таки есть, размышляла я, коль скоро у него такое редкое увлечение. И мне нравилось, как поблескивает сусальное золото на нимбах над головами святых на самых тонко выписанных иконах. Они напоминали мне дедушкины золотые буквы. Алхимию. Облагораживание человека.

Однажды вечером мы стояли перед завешанной иконами стеной в гостиной. Софус выставил лампы так, что иконы полыхали, будто сами были источниками света. Он обвинил меня руками:

– Любовь как икона, – изрек он у самого моего уха. – Пылающая. Святая.

Я уловила в этих словах фальшь. Пугающую пустоту. У меня зародились дурные предчувствия. Они усугубились, когда он добавил: «* * *».

Да, возможно, я была легковёрной. К сожалению, мужчина, носящий столь лестное имя Софус¹⁷, отличался отнюдь не только умом. Через неделю он явился домой позднее обычного, с вечеринки по случаю премьеры. Я только что отложила кипу глянцевого журналов – приходилось просматривать свежие выпуски по долгу службы, не более; дизайн уже тогда занимал меня все меньше. Что-то было не в порядке. Спектакль, пожалуй, произвел на Софуса редкостное впечатление, но меня смущало другое. Я было подумала, что всему виной свет, который Софус тотчас приглушил, войдя в комнату. Но вскоре поняла, что дело в носовом платке в нагрудном кармане его пиджака, в торчащем белом краешке. Материал так и сиял белизной, возможно, благодаря безупречно расставленным источникам света в гостиной. Я не сразу сообразила, что

¹⁷ Софус (от др. – греч. «Софос») – мудрый, знающий.

именно было не так. Софус никогда не носил платков в нагрудном кармане. Я шагнула в его сторону и потянула за ткань. Это были трусики, женские шелковые трусики. Она, должно быть, сунула их ему в карман на прощание – если только он не сделал этого сам, в приступе хюбриса¹⁸ или чтобы отметить свой триумф. Перед внутренним взором тотчас возник его силуэт: вот он вытаскивает их по дороге домой и подносит к носу. Меня мутило. Я бесстрастно оглядывала Софуса: мужчину, который донимал меня своей нескончаемой ревностью. Я глядела на него даже с любопытством, смотрела, как он стоит посреди комнаты, с таким усердием украшенной «святыми» иконами. Я поняла, что это уже не впервые. На языке вертелось слово «кошунство». А он просто стоял и криво ухмылялся, как будто уже давным-давно оставил саму мысль об отговорках. Все мои чувства к нему испарились за те секунды, которые потребовались, чтобы выключить свет и уйти, оставив его в темноте.

Именно его тщательно спланированные операции под прикрытием претили мне больше всего; вранье, которое он, должно быть, обдумывал, выстраивал в линии не менее виртуозно, чем софиты, которыми манипулировал из осветительской будки. Так или иначе, опыт отношений с Софусом привел к росту неудовлетворенности моей собственной работой. Пусть и короткими вспышками, но я теперь с обескураживающей ясностью видела, что обитаю в мире плутовства и предательства. Или, изысканней выражаясь: усердно направляю свет на неправильные точки социальной сцены. А что же любовь? Вывод был болезненно ясен: я жила с таким искаженным видением мира, в такой непроглядной тьме, что с благодарностью приняла бы на веру любую нелепицу.

Следующим вечером, когда Софуса не было дома, я закинула все его иконы в камин и запалила огонь. Плеснула в бокал эльзасского и уселась в кресло наблюдать, как изображения начнут таять. Святотатство, возможно, но я ощущала удивительное довольство.

– Любовь как икона, – проговорила я и подняла бокал к пламени. – Пылающая. Святая. Вот я и нашла ее – пламенную любовь.

«I'm through with love»¹⁹, поется в популярной песне Гершвина. Так я и думала, когда заплаканная, все глубже и глубже погружаясь в сентиментальные мысли, неотрывно смотрела на огонь, обращавший эти напоминающие бижутерию иконы в пепел. Пока золотой нимб плавился у меня на глазах, на ум пришла присказка дедушки: «По-настоящему ценно в жизни только одно. Попытка совершить невозможное».

Он говорил о попытке превратить камень в золото.

А может, любовь и есть невозможное?

Роль деда в моей жизни едва ли можно переоценить. Он меня воспитал. Я выросла среди надгробий, развевающихся *галабей*, полусгнивших кресел и потрепанных настенных календарей с рекламой судоходной компании «Фред. Ульсен Лайнс». Мы, несомненно, занимались и обычными делами: наблюдали за муравейником, изучали паутину, мастерили дудочки из ивовых веток и собирали лисички, но ничуть не реже деду могло взбрести в голову взять меня на прогулку в Долину Царей и там, после того как мы усаживались каждый на свой пенек, рассказывать мне о Тутанхамоне, угощая меня финиками с миндальным орешком внутри. А на деревьях вокруг дедовых владений были развешаны корабли – скворечники в форме кораблей. «M/S Bruse», «M/S Balkis», «M/S Borgland». Летучие голландцы. «Фред. Ульсеновские» суда, которые пошли ко дну во время войны. Подорвались на торпедах. В «M/S Brenas» поселилась лазоревка, в «M/S Bagdad» – мухоловка-пеструшка. «Главное, не пускать на борт всяких там индюков!» – говаривал дедушка.

¹⁸ Хюбрис (от др. – греч. «дерзость») – высокомерие, спесь, чрезмерное самолюбие, которое вызывает гнев богов.

¹⁹ Здесь: с любовью покончено (англ.). Цитата из песни в исполнении Мэрилин Монро.

О маме и папе ни одного худого слова; я всего-навсего утверждаю, что дед – оракул моего детства. В подарок от мамы мне достался английский; она позаботилась о том, чтобы я выросла двуязычной. Благодаря ее национальности нашлась и подходящая профессия: мама работала в аэропорту Форнебю, в сфере, как сейчас говорят, «пассажирского сервиса». Нередко именно она, все благодаря родному языку, зачитывала объявления по громкой связи. Я сидела в зале вылета и слушала ее приятный размеренный голос – «This is an announcement for passengers departing on...»²⁰ – и далее название авиакомпании, номер рейса, пункт назначения, чтобы затем продолжить: «kindly proceed to gate number... immediately»²¹. Я зажимивалась и шептала названия далеких городов. Так странно. Мама объявляла о путешествиях – и никогда не путешествовала сама.

Отец был зубным врачом. Он питал искреннюю неприязнь к пузатой банке с карамелью на дедовой кухне. Он мог держать карамельную трость между пальцев так, будто это капсула с опасными бактериями. Отец тоже был для меня в основном голосом, таким неизбывным фоновым звуком. А поболтать он любил больше матери. Я подозревала, что он и зубным врачом-то стал, чтобы получить возможность без умолку говорить, пока слушатели – пациенты с набитыми инструментами ртами – не могут его перебить. Вдобавок он, пожалуй, воспринимал свою работу как продолжение, или развитие, ремесла своего отца, резчика по камню. Когда он изучал медицинские карты пациентов, где отмечал расположение дырок в зубах, мне казалось, что эти схемы – точь-в-точь изображение Стоунхенджа, каменного святилища в Англии. А еще он, как и дедушка, тоже временами писал золотом – по белой эмали вместо черного гранита.

Мама и папа были весьма заурядными людьми. В свои выходные они не делали ровным счетом ничего. Или болтали. Без умолку. Но я никогда не помнила, о чем именно они говорили, хотя проводила в их обществе многие часы. Увы, думаю, что они-то и привили мне отвращение к слову произнесенному. Искусство «small talk», легкой беседы, мне никогда не давалось. И тем не менее: ни одного дурного слова о родителях. Они были любящими и заботливыми людьми. Я всего лишь чувствовала, что должно быть что-то еще. Только не знала, что именно. Когда я, повзрослев, искала слово, которое подошло бы для описания моих родителей, одно и то же существительное всплывало в голове постоянно: стагнация. Что-то остановилось. Они двигались по кругу: мама ежедневно садилась на автобус от одной конечной остановки до другой, отец прогуливался всего несколько сотен метров, туда-обратно по центру города до метро. В моих глазах они были заперты каждый в своем кольце, в закольцованных банальных беседах, где им так и не удалось реализовать свой истинный потенциал; они были пловцами, которые сначала пересекли Ла-Манш, а затем вполне удовлетворились ванной. Они, по собственной воле, заточили себя в малом пространстве. Последнее, о чем они думали, это о том, чтобы *выписаться* себя из замкнутого круга.

А меня влекло прочь. Я стремилась во Внутреннее Средиземноморье, к искрящейся жизни во всех смыслах этого слова. Мне хотелось стать незаурядным человеком, но я страшилась, что заурядность так и не даст незаурядности развиваться. Оттого меня так тянуло к деду. Мне хотелось сидеть на кухне – какое там, на камбузе! – где все уставлено бутылками с заморским маслом, где на полках хранятся специи, от которых в воздухе стоит запах восточного базара, и где можно почесывать за ухом черно-белого кота по кличке Рамзес.

Элиас Йенсен был по природе своей немногословным. Каждое его слово обладало весом. А когда он произносил два предложения одно за другим, я понимала, что самое важное заключено в паузе между ними.

²⁰ Объявление для пассажиров, вылетающих рейсом... (англ.)

²¹ Пожалуйста, пройдите к выходу на посадку номер... немедленно (англ.).

Элиас *делал* вещи. Облагораживание было его призванием. Он вгрызался в камень, он делал золото. В свободное время он по-прежнему был стюардом; составлял списки провианта, делал закупки, помещивал что-нибудь в кастрюльках на плите, выглаживал камчатные скатерти, штопал носки и расставлял мышеловки в погребе. Я семенила за его жилистым силуэтом, как маленький преданный ученик, и первые слова, которые я выучила, были такими: ведро, молоток, рубашка, топор, котлета. Я шла за ним на запах, когда он колол березовые дрова, когда красил сарай, когда стирал белье и развешивал его на веревке в саду, когда чистил ботинки или трубку, натирал полы так, что половицы начинали пахнуть сосновым лесом.

Отец с матерью никак не могли решить, как меня назвать. Папа звал меня Сесилия. Мама предпочитала Сесилиа. Должно быть, это единственное, из-за чего они пререкались. Я отзывалась на оба имени, не слишком велика разница. Но в пятилетнем возрасте взяла дело в собственные руки.

Я нашла что-то в коробке в старом курятнике, где дед складировал разномастную дребедень. Я наведывалась туда нечасто, все из-за сухого и резкого запаха куриного помета, намертво въевшегося в стены. Я не знала, что это, знала только, что что-то для меня. Думаю, что я отреагировала с той же чувственной жадностью, с какой мальчик смотрит на ладную игрушечную машинку. В коробке лежали еще три похожие штуковины, но эта притягивала меня больше других. Я схватила ее и ходила с ней повсюду не расставаясь. Это заметил дед. Посмеялся. Я думаю, он смеялся над тем счастливым восторгом, который был написан у меня на лице, когда я демонстрировала ему свою находку.

Дед принес жестяную коробку и тряпочку и показал, что следует делать. Я намочила ветошь в жидкости из коробки и принялась тереть находку. Темная поверхность уступила место багряному нутру. Я пришла в восторг. Мне уже доводилось слушать сказки о героях, которые терли волшебные предметы, и неудивительно, что у меня возникли свои собственные, особые ассоциации.

Я спросила: что это?

Дед ответил: латунь.

Я самозабвенно терла до тех пор, пока весь предмет не начал сиять. Я занималась тем же, чем и дед у себя в мастерской: делала золото. Должно быть, тогда я впервые в жизни окунулась в дело с головой. Будто кровь потекла по новому курсу. Я страстно жаждала обладать этой вещью, как ничем и никогда до этого. И в то же время ощущала легкое беспокойство. Будто в ней таилась опасность.

Может, тогда все и началось? Мое смятение?

– Что это? – спросила я снова.

– Это «А», – ответил дед.

– Что такое «А»? – я неосознанно поставила объект одной ногой на землю и принялась крутить «А» вокруг своей оси, как циркуль. Как будто ей можно делать вещи.

– Буква.

Это слово ничего мне не говорило. Я видела только, до чего она хороша; невозможно поверить, что она создана простым смертным. Она должна была появиться откуда-то еще, упасть с неба или возникнуть по мановению руки хитроумного мудреца.

– Она крепилась на моторке, вместе с тремя другими буквами, – рассказал дед. – Ты же знаешь, я люблю лодки. Только эту я давным-давно продал.

– А зачем они были на лодке? – спросила я.

– Рассказывали, как ее звали.

– А как ее звали?

– В честь бабушки, – он умолк.

Он всегда умолкал, когда речь заходила о бабушке. Брови-крылья печально повисали, и извлекался носовой платок. Затем дед наконец-то продолжил.

– Это последняя буква ее имени. Эльза. Помнишь?

– Хочу, – сказала я.

– Бери на здоровье, – ответил дед.

Он не понял, что я имела виду.

– Хочу, чтобы эта буква была последней и в моем имени, – уточнила я.

Дед растекся в улыбке, был весь – морщины, и белая борода, и зубы – насмешка над отцовской профессией.

– Об этом спроси-ка ты дома, – сказал он.

Но отныне меня звали Сесилиа. Отцу пришлось сдаться.

Не тогда ли я стала человеком? До тех пор я была лишь юрким сопящим зверьком – Рамзесу под стать.

Но что-то изменилось. Я спрятала латунную букву под подушку на ночь. Думала, отныне она меня оберегает. Или заряжает.

Я не изобрела шрифт. Но я его обрела. Я знала, что он лежал в той коробке и только и ждал, когда я ее открою.

* * *

Один индеец зашел как-то в паб неподалеку от города Сунси в Уэльсе, но его незамедлительно выгнала группа на редкость агрессивных скинхедов, выкрикивавших, что, мол, кастрировать бы всех этих индусов. Они последовали за ним. Индеец забежал на пустырь, но оставался как вкопанный, увидев некий предмет на земле, заржавевший листок от серпа, в форме изысканной С. Индеец тотчас же понял, что перед ним астра, могучее оружие. Он подбросил его в воздух, и в то же мгновение преследователи застыли на месте, ослепленные иллюзией.

Дедушка решил, что имянаречение необходимо отметить. К моему приходу он сшил гордый вымпел, который повесил на флагшток. В море дедушка научился многим вещам, например, шить. На светло-голубом вымпеле красовалась размашистая алая «С» – она немного напоминала о кошачьей лапе.

– У меня ты в своем королевстве, – сказал дед. – Да будет оно зваться Сесилиа!

– А разве у нас тут не Фивы? – дружелюбно спросила я.

– Фивы пусть будут столицей, – нашел изящное решение дед.

Какое было наслаждение проговаривать это слово. Се-си-ли-а. Это звучало как что-то нездешнее, экзотическое. Еще звучнее, чем названия городов, которые мама зачитывала по громкой связи в аэропорту. Как Сицилия. Как Цейлон или Океания.

Наряду с «С», «А» была буквой, с которой у меня сложились отношения прежде, чем я пошла в школу. Я научилась рисовать «А», не понимая всей важности понятия *буква*. Для меня это была просто фигура, которую я умела воспроизводить. Я то и дело выводила ее мелками на асфальте. Мне хотелось заполнить «ашками» все улицы и переулки. Превратить целый мир в СесилиА.

IV

На следующий день еще до полудня, спустя неполные сутки после первого посещения, ноги снова понесли меня в «Пальмиру». Тело настаивало. И что ему до термометра, который заявлял, мол, холод на дворе стоит собачий. Неподвижный воздух пробирался сквозь все одежды и обволакивал мои члены ледяной пленкой. Какое облегчение обнаружить дверь в кафе открытой и просочиться в пахнущее хлебом тепло. Мои глаза невольно просканировали комнату, просто чтобы убедиться, что его нет среди посетителей. Понятия не имею, откуда я это знала, но знала твердо. Я медленно подошла к прилавку, меня снова поразило, до чего же уютно обставлено место. Никакой претенциозности, присущей всем этим новомодным пекарням, в которых жители западной части Осло готовы выстаивать длинные очереди.

За прилавком стояла та же молодая женщина и запускала вспениватель для молока, который сопровождал моим шагам звуком «вуууш». Такая же гордая, такая же поразительно уверенная в себе. Человек, которому привычно внимание. Который движется в том же элегантном ритме, что и музыка на заднем плане, ранний Майлз Дэвис, «Birth of the Cool»²². Полки гнулись под тяжестью хлеба. Перед каждой полкой висели маленькие, заполненные вручную листки бумаги. «Батон Моби Дик», значилось на одной. «Буханка Дон Кихот» – гласила другая. На прилавке красовались сконы, круассаны и сдобные булочки. С краю – масло, два вида варенья, два вида сыра, два вида ветчины.

– Что это за ветчина? – поинтересовалась я.

– Серрано и Пармская.

Я кивнула. При слове «пармская» я всегда вспоминала создателя шрифтов Бодони, который жил и работал в Парме.

– Извините, можно спросить, как вас зовут?

– Эрмине.

Мне стоило догадаться, что ее зовут как-то в этом духе – по-кошачьи, похоже на эрмелин²³. Или похоже на Bodoni. Осанистая и недоступная. Женщина в имперском стиле. Я перевела взгляд на листочки перед хлебами. Что-то совсем иное, Ренессанс, Венеция. Я увидела в этом почерке целый мир. Даже налет чего-то арабского, ориентального. Это, должно быть, был его почерк. Ясное дело. Отмеченный индивидуальностью. Единственное, что я в этом мире презираю, это людей с *безликим* почерком. Я представила его руку. Пальцы, сжимающие ручку. Старый «Паркер»? Внутри меня все затрепетало. Я прислушалась к звукам из дальней комнаты. Тишина.

– Его здесь нет, – сказала Эрмине.

Она, должно быть, заметила, что я вот-вот задам этот вопрос. Голос звучал холодно, интонации – слегка враждебно. И сейчас она напоминала мне об одной подружке, об эпизодах моей юности.

Я купила «Батон Моби Дик». Эрмине оттаяла.

– Вам понравится, – сказала она.

По дороге на улицу, у самой двери, я заметила нарисованный вручную плакат. Через два дня в кафе намечалось мероприятие. Шрифт был идентичен почерку на листочках с хлебами.

В этом почерке был заключен целый мир.

²² Рождение кула (англ.). Кулджаз («прохладный джаз») – стиль джаза, для которого характерна эмоциональная сдержанность и использование приемов академической композиции. Сформировался после выхода альбома Майлза Дэвиса «Birth of the Cool» в 1957 году.

²³ Эрмелин – горностаевый мех, традиционно используемый в геральдике.

Я жила в небольшом мирке. А теперь он стал шире. Одним росчерком пера.

Девочкой я жила во вселенной, которую можно было бы обойти по периметру за час, не более. Эта окружность заключала теплые руки и дружескую речь, умиротворяющее словесное гудение отца, в той же тональности, что и с пациентами, доверительный голос матери, будто она и дома объявляла вылеты самолетов, взявших курс на чужие страны. Я двигалась будто во сне. В безобидном сне.

Мама обычно будила меня, выводя пальцем надписи на моей голой спине. Мне нравилось так просыпаться.

– Что ты пишешь? – бормотала я в полудреме.

И мама всегда отзывалась: «Люблю тебя, сокровище мое».

Меня не крестили, но эти знаки будто имитировали этот ритуал, были как благословение, заверение в том, что не приключится тебе зло²⁴. Такими мне запомнились первые буквы, хотя я их и не понимала: наслаждением.

Нежные мамины пальцы по спине-холсту. Начищенный до блеска предмет из латуни. Мое имя из сахарной пудры на пироге.

В памяти годы детства суть долгая умиротворенная дрема. Я вижу себя на кроватях, на диванах, на лужайках и на пляжах, и я посапываю или размеренно потягиваюсь по-кошачьи. Мы с Рамзесом были одной масти. Может, счастье и сонливость неразлучны? Счастье и дурман?

В то время, когда большинство ровесников занимали картинки, я была одержима письмом. Или точнее: для меня все, и картинки тоже, было письмом. Это началось, когда я пошла в школу и мир стал шире.

В конце августа я с бантами в волосах сидела за партой. В глубине души понимая, что эпоха беззаботности подходит к концу, я, тем не менее, смело взирала в будущее. Наслушавшись морских баек деда, я усвоила, что первый класс – самый лучший; я ощущала, что плыву на роскошном корабле жизни. Мне предстояло научиться писать. Я смотрела на лежащий передо мной карандаш как на нечто острое. Как на мощный инструмент.

У деда был топор. Отменный инструмент, постоянно заверял он, проводя ногтем по наточенному до блеска острию. Дедова топора я побаивалась.

– Топор на что только не сгодится! – рассуждал дед, когда я плелась за ним по участку.

Он валил им высокие деревья и строгал изящные фигурки, тогда как я не обошлась бы без ножа. Колот топором толстые поленья или точил им строительный карандаш. Топор приходился кстати, даже если нужно было разделать огромные куски мяса или забить гвоздь. Когда мы были в сарае, я порой стояла спиной и слышала: гек, гек, жжик, жжик, бам, бам, – и когда я поворачивалась, на верстаке уже лежал скворечник в форме стройной лодки.

– Даже если в твоём распоряжении только один топор, можно выстроить самый настоящий дом, – говаривал дедушка.

Однажды, в самой чаще леса, он без предупреждения вырубил «Е» в дереве, только стружки летели. Будто топор был пером.

Я очинила карандаш. Он лег на парту, наточенный, важный. Готовый к бою.

Кем он был? Дома на кухне я выложила хлеб из «Пальмиры» на стол. Он был ни на что не похож. Широкий, мучнисто-белый. Неровная, шишковатая поверхность поблескивала кристаллами морской соли. Я ласково провела пальцем по корочке, думала, что смогу различить отпечаток пальца – во всяком случае, он же должен был дотронуться до этой буханки. Что со

²⁴ Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих (Псалтирь 90:10–11).

мною творилось? Ведь я же прекратила искать. Я была как археолог Говард Картер²⁵ в Египте, который был готов сдаться. И вдруг: спотыкаешься о камень. Находишь в песке ступеньку. Копаешь и обнаруживаешь лестницу вниз, а за ней и дверь, а за ней – сокровищницу?

Я отрезала ломоть, положила на него кусочек сыра. Девушка была права. Мне и впрямь понравилось. Подумалось, что он наверняка приготовлен «любящей рукой». На вкус солонее обычного. Вкус моря. Впервые за долгое время я ощутила сытость, приятную сытость. И мысли побежали в непривычном направлении, точно вкус пробуждал образы. Уплетая хлеб, я вспоминала разные истории, которые со мной приключались летом у моря, неумелое барахтанье в воде, первую рыбу, первый безрассудный прыжок в воду. Я что, снова собираюсь совершить что-то безрассудное? Я призадумалась: а почему бы и нет. Я тосковала по безрассудству. Меня одолело желание работать, и я вошла в домашний кабинет. Как обычно, или точнее сказать, как в мой наиболее амбициозный жизненный период, я поставила диск со звуками сякухати – мистические, движущиеся будто ошупью мелодии – и снова взялась за распечатку главы о поезде из «Анны Карениной». Выхватила из текста ответ графа Вронского на вопрос о том, почему он тоже покидает Москву: «Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе». Я вглядывалась в эти слова, внезапно ощутив прилив недовольства шрифтом *Cecilia*. Во фразе было девять «е», и я увидела с неумолимой ясностью, до чего они нелепы, насколько сильно их начертание выбивается из общей массы шрифта. Я немедленно бросилась вносить правки и просидела до вечера не вставая. Почерк из «Пальмиры» всколыхнул воспоминания из первого класса, тех времен, когда я выводила свои первые «ешки». Но и сейчас, когда я сидела у монитора, мне казалось, что не поздно все начать сначала.

Я не помню, как научилась читать. Чтение не особо-то меня занимало. Но от чего, скажите на милость, я задохнулась от восторга, впервые столкнувшись с письмом? Не знаю. И раз уж на то пошло, впечатлял меня не сам шрифт. Но рисунки. Наша классная наставница была художницей. Художницей, у которой хватало сил еще и преподавать. Мы знали, что она писала картины и что имела ателье. В школе она обучала нас писать «А» и «а», но, кажется, все только рисования ради. Вскоре «А» почти растворилась в рисунках, развешанных по всем стенам. Сделалась собственной вселенной. Я знала, что фрекен права; я частенько разглядывала латунную «А», припрятанную под подушкой как фетиш, – и обнаружила, что она раскрывалась и показывала мне образы далеких вещей.

Живописные вещицы нашей фрекен внезапно заставили меня быть внимательней к мелочам. Нарисовав пышный «джунгледобный» букет рядом с «Б», я стала основательней изучать цветы, которые забирала для мамы в благоухающей лавке в центре города. Я внимательнее присмотрелась к неизменно галантному цветочнику и вдруг обнаружила, что он был двойником короля Улава. Когда мы подобралась к «Л», то нарисовали лягушку. Вечером я прибежала к дедушке и впервые всерьез принялась изучать загадочных существ, что обосновались у ручья возле сарая.

«С» представляло сложности. В норвежском языке не так уж много слов начинаются с «с».

– «С» – маленький бунтарь, – посмеивалась фрекен.

Мне это было приятно. Она все равно кое-что придумала; изобразила скрипача и скрипку. Скрипач походил на принца. Меня забавляла мысль, что она адресовала это лично мне. Кто бы мог подумать, что она вновь окажется права.

²⁵ Говард Картер (1874–1939) – английский археолог, египтолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона в Долине Царей в 1922 году.

При помощи всех этих листов ватмана с буквами и рисунками по стенам класса фрекен творила новый мир. Это были уже не листы бумаги, но двери в новые измерения, измерения, которых прежде не существовало. Это была дополненная реальность.

В течение недели, когда мы разучивали «Г», я порой только и делала, что днями напролет перебирала слова на «Г». Дед раздобыл старую энциклопедию, и я упросила его зачитывать мне вслух словарные статьи на «Г»: гейша, Гоятлай²⁶, гладиатор, мост Голден Гейт, грейхаунд, гуляш. Я, возможно, что-то слышала или даже знала об этих предметах и людях, но только теперь они начали существовать взаправду. В такие дни по дороге в школу только слова на «Г» я видела в цвете – глицинии, груши, гаражи, галантерея, грузовик, галка – все остальное скрывала тень.

– Буквы можно складывать, – сказал однажды дед.

– Во что?

– В слова.

Я знала об этом, однако мысль мне претила. Это казалось ненужным. Рисунки были историями сами по себе. Когда мы учились сцеплять буквы друг с другом, сокращать их до куцых звуков, мне приходилось несладко. Особенно поначалу. Мать с отцом даже подумали, уж не отстаю ли я в развитии. Я не могла прочесть слово как слово; я видела в нем рассказ, созданный из букв, из рисунков фрекен. Стоило увидеть слово *март*, как я представляла себе не месяц, но моряка, акулу, руку и топор. Слово превращалось в полную драматизма историю.

С тех самых пор, как я пошла в первый класс, я видела сокрытое. Возможности. Слова, что проступали наружу, когда мне удавалось утихомирить свои ассоциации, казались унылыми, а то и вовсе непонятными. Однажды я-таки сумела сложить вместе буквы на одной из дедовых бутылей с водой:

– В-О-Д-К-А, – зачитала я вслух. – ВОДКА.

Неожиданно за моей спиной возник и он сам.

– Это значит «вода» на русском языке, – сказал дед.

– А почему ты не пьешь воду из-под крана? – поинтересовалась я.

Он не ответил. Вот только взгляд его сделался таким же отрешенным, как когда он сидел, уставившись в пустоту. Когда ему, догадывалась я, слышались крики о помощи.

* * *

Кардинал из Кратца изгнал брата Доминго из монастыря и лишил его сана посреди городской площади у всех на глазах, но он ведать не ведал, какой силой тот наделен. Когда кардинал вышел из кафедрального собора после мессы в следующее воскресенье, брат Доминго как раз закончил выкладывать на площади конские кучи в форме такой буквы К, какую он высмотрел в гримуаре²⁷ чернокнижника Киприана. Приметив кардинала, брат Доминго бросил пару волосков из хвоста кошки кантора на К, и все вокруг узрели – и по сию пору рассказывают, – как и кардинал, и кафедральный собор, и колокольня растеклись и будто втянулись в конский навоз. А тот в мгновение ока обратился раскаленной добела кованой К. Ее и поныне никому не удалось сдвинуть с места. А коли кто не верит, пусть едет в Кратц да убедится сам.

– Зачем люди пишут? – спросил однажды дед, когда мы с ним сидели в Мемфисе.

²⁶ Джеронимо, или Гоятлай (1829–1909) – легендарный вождь индейцев-апачей, который более двух десятилетий возглавлял борьбу против вторжения американских захватчиков на земли своего племени.

²⁷ Гримуар (франц. grimoire) – книга, описывающая заклинания для вызова духов или содержащая различные колдовские рецепты.

Я призадумалась. Ничего не шло в голову. Я тогда училась в шестом классе и только что продемонстрировала деду сочинение на завтра, четыре страницы убористым почерком, на тему «У себя в гостях через пятьдесят лет».

– Пишут-то все, дело ясное, но я не о том, – добавил он. – Зачем человеку писать осознанно, какой в письме смысл?

Он по обыкновению работал в изношенной *галабее*, купленной на Каирском базаре лет сорок назад; он был монахом, склонившимся над серым камнем, над гравировкой, которую предстояло покрыть черным лаком. Потолочный свет не горел, и рабочая лампа нависала над самой поверхностью камня, освещая выбитые буквы в мельчайших деталях. Игра света и тени помогла мне прочесть: «Се, творю все новое»²⁸.

Дедушка наносил краску медленно, уверенно, ни одного лишнего движения тонкой кистью.

– Потому что мы смертны, – сказал дед, так и не дождавшись моего ответа.

Я не поняла. Он имел в виду книги? То, что человек может обрести славу благодаря тексту в книге – славу, которая, быть может, пребудет и после его смерти? Я в это ни капли не верила. А сегодня верю и того меньше.

Ребенком я редко думала о смерти. Я считала само собой разумеющимся, что лет, скажем, через пятьдесят буду жива. Что я буду сидеть у себя в гостиной так-то и так-то. Вот о чем я написала в сочинении.

Посещение Фив нередко оканчивалось прогулкой, после которой я делалась беспокойной. Дед брал меня за руку – он брал меня за руку, даже когда я стала старше, – и вел вдоль спортивной площадки, переводил через дорогу и заводил в ворота кладбища, которое, по словам деда, лежало на «душевно подходящем ему» расстоянии от гранитной мастерской. Элиас звал кладбище Саккарой. Я уже тогда знала, что заложено в названиях, которые он беспрестанно использовал: мое первое знакомство с Египтом было похоже на шершавый язык и мягкую шерсть. Преодолев ворота, мы медленно шагали по тропинкам между надгробиями. Мне помнится неизменно ясная погода, тихий теплый воздух, полный душным запахом трав.

Дед то и дело останавливался возле могильных плит. Я никогда не знала, был ли он знаком с покойником лично или припоминал трудности, связанные с работой именно над этим памятником. Или, может, он хотел показать мне, что занимается важным делом, что только его скарпель не дает этим жизням кануть в реку забвения. Нас окружали могилы обычных людей, но благодаря исполненным благородства золотым буквам Элиаса Йенсена они походили на кладбище павших героев. Что бы ни было, он всегда тихонько читал вслух имена, написанные на камнях, которые мы миновали. Как-то я спросила, зачем он это делает.

– Человек живет, пока звучит его имя, – был ответ. По дороге я читала. «Помним, любим, скорбим», «В сердце и в памяти», «Спи спокойно». Иногда торжественная, обнадеживающая цитата из Библии.

– Вот что остается, – не раз и не два говорил дед. – Имя на камне. Кое-какие даты. Кто-то, может, прочел целую библиотеку, но с собой заберет одно-единственное короткое предложение.

Он встал у могилы адвоката, работавшего в Верховном Суде, и указал на строчки ниже: «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»²⁹.

И что с того, думала я почти с раздражением. Не знаю, почему дед так часто брал меня с собой на кладбище. Знаю только, что эти прогулки приводили меня в смятение. Внушали страх смерти, от которого я так и не сумела отделаться. Я знала, что знак перед последней датой отнюдь не был крестом; это был кинжал.

²⁸ И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое (Откровение Иоанна Богослова, 21:5).

²⁹ Евангелие от Иоанна, 11:26.

Однажды утром, когда я только начала оставаться ночевать у моего возлюбленного, мы лежали на матрасе, тесно прижавшись друг к другу, и рассказывали друг другу разное. Лед покрыл окна кружевной занавеской, но в камине горел огонь, и мы лежали без одеял.

– Знаешь, что написано на надгробии моей мамы? – спросил он.

Я принялась гадать. Он подивился, сколько эпитафий я знаю. Но ни одна не подошла.

– Первые семь нот «Концерта для виолончели с оркестром ми минор» Эдуарда Элгара, – сказал он. – Она была романтической натурой. И скептически относилась к словам.

– А что насчет тебя?

Я хотела сказать: «Ты считаешь себя романтической натурой?»

Но он не понял, что я имела в виду.

– У меня вообще не будет надгробия. Я никогда не умру. Пообещай мне. Не дай мне умереть.

– Обещаю, – отозвалась я и притянула его к себе.

У бабушки был один из самых красивых камней на всем кладбище; дед собственноручно его выбрал в карьере напротив усадьбы. Я всегда оборачивалась, чтобы оглядеть его и убедиться, что все в порядке. Передняя сторона была шероховатой, из-под бучарды³⁰, тогда как остальные три сохранили натуральную поверхность.

– Я выбрал местный гранит, потому что он светло-красного цвета, но становится багряным, когда намокает, – говаривал дедушка. – Я часто прихожу сюда во время дождя.

Элиас выбил и надпись. Одними прописными.

– Capitalis monumentalis. Такой же шрифт, как на постаменте колонны Траяна в Риме, – сказал он. – Лучший из когда-либо созданных. Непревзойденная ясность. Никогда не выйдет из моды.

Также камень украшал узор: солнечный диск с расходящимися лучами, частично скрытый треугольником.

– Это пирамида, – объяснил дед.

– А закат?

Мне пришлось толкнуть дедушку. Он стоял, так крепко задумавшись, будто памятник перед ним превратился в мудреный Розеттский камень.

– Это восход, – поправил он меня.

Треугольник и круг напоминали замочную скважину. Может, надгробие на самом деле было дверью? Я украдкой поглядывала на ключ, висевший у деда на шее, о котором тот никогда ничего не рассказывал.

– Здорово, что бабушка лежит так близко, да? – сказала я однажды.

– Не очень-то близко, – откликнулся дедушка.

– Она не здесь похоронена?

Элиас заинтересовался гравием на тропинке, и выражение его лица сделалось такое, будто совесть его нечиста.

– В некотором смысле она здесь лежит. Но в некотором, так сказать, смысле здесь одиноко покоится герр Дубовицкий.

Он улыбнулся. Плохие зубы делали улыбку немного злобшей. Мне на миг подумалось, что речь о любовнике бабушки и о том, что дед его порешил.

Мы продолжили прогулку. Я непроизвольно читала имя за именем, куда падал взгляд. Мы были на кладбище, полном мертвых людей, оконченных жизней, и тем не менее меня не

³⁰ Бучарда – молоток с квадратной формой оголовка и пирамидальными зубцами. Применяется для нанесения шероховатостей на поверхность камня.

покидало чувство, что я нахожусь в месте, свидетельствующем вечность. Будто камни сами по себе были проводниками бессмертия. Или надписи. Взорвись хоть атомная бомба, буквы на этих плитах останутся неизменны. Постоянство знаков. Смерть и письмо. Забытие и память. Письмо на камне противится забвению. Письмо на камне сродни победе над смертью.

Может, за этим люди и пишут? Вопреки?

Может, поэтому я сижу и пишу это – у самого аэропорта, чуть не в транзитном зале – хотя мне бы следовало схватить чемодан и ринуться прочь? Потому что я должна уберечь мою невероятную находку от забвения. Вновь: письмо против смерти.

Если и стоит к чему-то стремиться, то к невозможному.

Я живу в голубой комнате – комнате в так называемом морском стиле. Стены увешаны изображениями парусников. Вполне уместно. За окном мне видны современные суда. Они парят в воздухе. Они наводят меня на мысли о дедушке, о кораблях в кронах деревьев. О том, что даже после взрыва торпеды можно спастись.

Воспоминания о дедушке возвращают меня в исходную точку. Возвращают серьезность, какой мне давно не доводилось испытывать. От той иронии, какой я раньше так лихо орудовала, и в профессии тоже, не осталось и следа. Всему нужно учиться заново. Стоит придвинуть стул к письменному столу, как я снова сижу за партой в первом классе.

* * *

Кроткий монах и переписчик Джованни, сегодня наиболее известный как автор самой красивой копии латинского перевода Ветхого Завета Святого Иеронима, которое хранится в старейшей библиотеке Флоренции, однажды держал путь в один монастырь в Северной Африке и заблудился в пустыне. Повинуясь божественному наитию, и со всей искусностью на какую был способен, он начертил букву D на песке, а затем повалился с ног от жажды и изнеможения. Пейзаж тотчас же начал меняться. Перед ним возникла дивная долина с небольшим прудом. Пруд обрамляли деревья. В воздухе порхали какаду и дневные бабочки. Монах доковылял до дастархана, уставленного дюшесом и блюдами, полными дыни и джекфрута.

Прежде чем выучить буквы, я изучала другие знаки. И это из-за дедова интереса к камням и к эстетике смерти – настоящей Саккары. Дома в гостиной Элиаса Йенсена на полке хранились книги со множеством рисунков. То есть я думала, что это были рисунки. Я считала их книжками-картинками. Мне было невдомек, что это фотографии, детали обелисков и стен храмов или гробниц. Я видела только, что эти страницы кишели человеческими существами, животными, птицами и растениями. Я могла часами лежать и перерисовывать эти стилизованные изображения из книг: сокола, пастушеский посох, рыбу, корзину, кораблик. Изобилие знаков в дедовой библиотеке взывало ко мне, и не объяснишь, как. Если не сказать больше: знаки напоминали мне нечто, и ничуть не менее завораживающее – искры зажигалки дяди Исаака.

Я хотела быть той, кто собирает искры.

– Это письмо древних египтян, – сказал однажды дедушка, когда я, засунув в рот рубиново-красную карамельку, выводила жука-скарабея.

Письмо? В это было невозможно поверить; я не видела связи между вереницами букв в газете, которую дед только что отложил, и тем, что я видела перед собой. *Это* письмо карабкалось и трепыхалось, оно было *живое*.

В тот же день мне преподали мой первый урок иероглифики. Знак, изображающий сову, мог означать птицу сову, а мог и звук «m»; цветущий тростник был и тростником, и звуком «i». Иные знаки отвечали за две, а то и за три буквы.

– Вот это, – дед указал на жука, которого я раскрашивала, – это знак, который обозначает комбинацию трех согласных, «hrg», и в то же время глагол «становиться».

Я, конечно, поняла из его слов немного, но уши навестила и принялась слушать со всем вниманием. Дедушка тем временем разошелся. Он был и возбужден, и говорил складно, он мог подолгу говорить всякий раз, когда речь заходила о Древнем Египте. Усадив меня на колени, он листал книги с рисунками, объяснял мне – как можно проще, – что правила орфографии древнеегипетского письма обескураживающе просты; самое важное, чтобы вышло красиво. Знаки группировались в квадраты. Так, чтобы иероглифы смотрели читающему в лицо.

– Погляди на эти, Сесилиа. Обрати внимание, что египетский гриф, означающий «а», обращен клювом к двери.

Не раз и не два я думала, что эти знания пригодились очень кстати, когда я начала работать в сфере рекламы.

Иными словами, я была хорошо подготовлена ко встрече с рисунками фрекен в первом классе. Когда я видела утку в воздухе, то всегда думала: знак полетел! – точнее знак для звука «га». Я привыкла к письму, которое рычало, мычало, жужжало и пахло выпечкой – в Древнем Египте хлеб обозначал звук «t». Фрекен только поощряла во мне ту восприимчивость, которую я уже выработала к первому классу. Даже сегодня я могу обратить взгляд на букву и внезапно услышать кваканье или звуки рожка, уловить запах булочек и начищенной латуни, ощутить вкус меда и кардамона, почувствовать, как ладони касаются кроличьей шерсти.

Стоит столкнуться с одной из двадцати девяти букв, и вот уже во мне роятся страннейшие образы.

Может, я явилась в этот мир с дефектом мозговых извилин? Однажды я проснулась посреди ночи от какого-то звука. В комнате было темным-темно, не видно ни зги. Но я ясно слышала шорох от соприкосновения карандаша с бумагой. Мой возлюбленный сидел на постели и писал. Я ощущала его присутствие.

Наутро я упомянула этот эпизод. Он сказал, что его посетила идея сделать запись в дневнике. Он протянул мне свою маленькую черную книжку. Я с удивлением обнаружила, что слова на странице были легко читаемыми, а почерк – одни заглавные буквы – идеальным, как печатный. Я все думала об этом впоследствии. Он мог безупречно писать в темноте.

Я прочла следующий пассаж:

«За каждым человеком по пятам следует эльф по имени Грацилис. Задача его играть на арфе, когда он видит, что у любви есть шанс. Такие случаи редки, однако стоит ему заиграть, и в том, кто услышит звуки струн, зародится ни с чем не сравнимое желание».

– Дневник? К чему ты это написал?

– К тому, что когда я впервые увидел твое лицо в снегу, то почувствовал, как мышца с внутренней стороны бедра сократилась и послала разряд через все тело.

– Но Грацилис? – я хмыкнула. – Этакое имечко, откуда ты его взял?

Мое непонимание его смутило.

– Эта мышца называется *musculus gracilis*, и она весьма надежный инструмент, – ответил он.

Я по-прежнему больше дивилась его дару писать в темноте, чем занятой идее про мышцу. Возможно, это и было началом конца. Следовало бы понять, что моя неумная страсть к письму способна привести к роковым заблуждениям, полностью меня ослепить.

Дедушка много знал о Египте. Когда он ходил стюардом по Внутреннему Средиземноморью, корабли нередко причаливали в Александрийском порту; трюмы загружали хлопком для последующей отправки в Марсель. Семнадцатилетним парнем Элиас впервые услышал о том, что археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона. Ему стало любопытно, и с тех пор каждый раз по прибытии в Александрию он на день отправлялся в Каир. Он до

того увлекся древнеегипетской культурой, что при случае взял отпуск и остался в Египте на несколько месяцев.

– Я думал, что сбежал с каменоломни, – сказал он, – да только угодил в каменоломню поболе.

Тогда же он посетил и Долину Царей и был свидетелем тому, как последние сокровища выносились из гробницы Тутанхамона в пустое хранилище поблизости, где их временно реставрировали перед доставкой в Каир, где многие сенсационные находки уже были выставлены. Элиас одним глазком видел и самого Картера, но его не в пример больше впечатлила модель лодки, которую поднимали ученые, – изящно расписанный корпус с мачтой, искусно выполненной оснасткой и всем, что полагается. Суденышко было полностью готово везти фараона по загробной жизни. Со временем я поняла, что свой корабельный проект дед, должно быть, задумал именно тогда.

Элиас действительно много знал о Египте, но не был охвачен той свойственной некоторым людям «египтоманией» – мистическим суеверием, подпитанным кое-как усвоенным чтением о пирамидах. Он не был и фантазером, который тоскует по давно ушедшим временам или думает, что норвежцу под силу с лету понять чужую, да еще и древнюю, цивилизацию. Элиас Йенсен по природе своей был скромнен. Обладая кругозором, который внушил бы уважение и специалисту, сам он рассматривал свои знания исключительно как утоленное любопытство. Приобщение к древнеегипетской культуре непосредственным образом сказалось лишь на одной сфере его жизни: на его работе камнетесом.

К тому же он будоражил фантазию внучки. Дедушка рассказывал мне о фараонах – и энтузиазм ему не мешал – беспристрастно и рассудительно. Он говорил о Джосере и Ментухотепе, о величественном Карнакском храме и храмах в скале Абу-Симбел. Когда я однажды поскользнулась на камнях утеса напротив дома и сильно ободрала предплечье, он поведал мне о мумиях. Обработывая рану, он прочел небольшую лекцию о технике бальзамирования. Мне казалось, что все это было ужасно противно – подумать только, бальзамировать целых семьдесят дней! – но я внимательно слушала, пока дед промывал рану, накладывал мазь и заматывал руку бинтом по всем правилам египетского искусства.

Думала ли я тогда о возможностях? О том, что эти знания пригодятся мне в будущем?

Дедовские познания о любимой географической области сказывались и на том, что он подавал к столу. Особенная охота приготовить что-нибудь эдакое одолевала деда по средам и субботам, потому что в эти дни мы слушали «Голос Норвегии»³¹. Я листала полные иероглифов книги и искала, что бы такое нарисовать, пока дед стоял у плиты в окружении невероятных продуктов вроде нута или баклажанов. Когда в начале популярной радиопередачи «Почтовый ящик» играли «Валдрес-марш»³² и диктор зачитывал приветствия капитанам, офицерам и экипажу тех или иных кораблей, возникало особое настроение праздника – звучали названия, которым дед иногда кивал в такт, явно узнавая. А когда передача подходила к концу, на столе появлялись необычные кушанья вроде запеченной рыбы, начиненной грецкими орехами, овощных пюре или лимонного цыпленка с салатом, всех названий и не упомнишь.

– Вот такое Средиземноморье на вкус, – говаривал дедушка.

Я тем временем рисовала быка, глаз или сердце. Всего лишь иероглифы, но они жили. Пусть из незатейливых черточек, но бык излучал силу. Глаз *смотрел* на меня. Сердце билось.

Я размышляю об этом с тех самых пор. Возможно, походы на кладбище так меня волновали именно из-за письма. Все эти люди, имена, которые мы с дедом читали на плитах, все они

³¹ «Голос Норвегии» (норе. Sjømannssendingen, букв. «эфир для моряков») – норвежская радиостанция, многие годы осуществлявшая вещание на зарубежные страны.

³² «Валдрес-марш» – один из наиболее известных маршей Норвегии. Написан композитором Юханнесом Хансеном (1874–1967) в 1901–1904 гг. В 2018 году «Валдрес-марш» был выбран национальным маршем Норвегии.

были мертвы. И мертвы по сию пору. Письмо, может, и продолжает жить, да только оно просто напоминание. Мне врезалась в память одна эпитафия, «Ушел от нас ты так внезапно». Гром среди ясного неба – и вжух, тебя уже нет. Письмо здесь бессильно.

Думаю, именно на кладбище мне впервые подумалось: письмо не должно просто напоминать о жизни. Я мечтала о том письме, что *дает* жизнь. «Се, творю все новое». Дедушка ошибался. Человек пишет не потому, что смертен. Человек пишет потому, что хочет жить. Хочет больше всего на свете.

Может, тогда все и началось – в возрасте семи лет? Я поймала большого жука и заставила его пройти по крышке банки красной краски, а затем пересадила на белый листок бумаги. Я долго глядела на диковинные красные точки, которые оставлял жук, пересекая лист по диагонали. Красный след. Живое письмо. Знаки, твердящие «быть», «быть», «быть».

Однажды вечером, когда я осталась ночевать у деда и он пересказал мне историю любви женщины-фараона Хатшепсут и зодчего Сененмута, я задала вопрос о бабушке. Как он догадался, что она его суженая?

– Мне был знак, – ответил дед.

Я спросила, какой. Сначала он не хотел отвечать. Сказал, мол, все получают разные знаки.

Я баловалась с ключиком, который дед носил на шее. Зубцы напоминали «Е». Может, дедушка тоже нашел букву среди сора, как я когда-то нашла «А»?

Наконец он сдался. Рассказал, почему выбрал бабушку. Когда Элиас был моряком, через год после начала их отношений, они с Эльзой сильно повздорили в день перед отплытием. Это тяготило его день и ночь всю дорогу по Внутреннему Средиземноморью. Но когда он две недели спустя сошел на берег в Александрии, Эльза стояла на причале и ждала его. Она проделала путь до самого Египта, чтобы все стало на свои места. Ей было невозможно дожидаться его в неопределенности.

– Это, – сказал дед, – *это* и был мой знак. Она преодолела целый континент.

Я размышляла об этом, пока не уснула. Размышляла и потом. Мне всегда казалось, что это должно случиться скорее, что это нужно заметить сразу, как отметину на лбу, как знак, который говорит: да, ты искал именно меня.

Встретив Софуса, я поймала себя на том, что осматриваю его тело. Заглядываю подмышку, будто ожидаю увидеть там «С».

Жизнь дедушки в Фивах подготовила меня к приключениям, но в первом классе буквы все равно меня смущали. Горизонт ширился с такой скоростью, что голова шла кругом. Одолев алфавит, я начала задаваться вопросом, есть ли у меня что-то общее с родителями, которые вели беседы в гостиной, сидя каждый на своем стуле. Может, я другое существо? Я писала «о» и видела, что оно было не кругом, не стагнацией. Я писала «о» и замечала, что прихожу в движение; я писала три «о» подряд и видела три колеса, узнавала локомотив, я *была* локомотивом – я делала то, что велела основа слова: двигалась прочь. Я была на пути наружу.

Может, до той поры я жила в раю. Может, буквы были сродни грехопадению. Особенно «Й» представляла собой водораздел. Мы не знали, что бы нарисовать. Даже фрекен ничего не придумала. Один полусонный оболтус предложил слово «йолка». Я сочла это за поражение. Подняв руку, я заявила, что мы могли бы нарисовать череп Йорика. Я много о нем знала, дедушка рассказывал мне о Шекспире, стоя на кухне и глядя в окошко на раскидистый дуб, мое тайное прибежище – *Quercus robur* на латыни.

Одноклассники уставились на меня так, будто я была дурее остолопа, предложившего нарисовать «йолку». Фрекен предотвратила конфликт, объявив, что изобразит «йо-йо». На следующий день над доской красовался новый плакат, с «Й», «й» и чудесным рисунком игрушки на шнурке. Все были довольны, негодовала одна я. Даже сегодня, думая об этом, я раздражаюсь: письмо тогда сделалось развлечением, утратило глубокий смысл.

Меня сразу потянуло к «Й» – так же непреодолимо, как и к латинской «Q». Может, потому что обе буквы казались такими бесполезными. «Q», *Quercus robur*, была моей любимцей. Дубовые ветви на все четыре стороны. Дерево, для карабканья, для сидения и размышления. Когда меня спрашивали, кто я по знаку, я всегда в шутку отвечала: «Q». Позднее я обнаружила, что «Q» напоминает сперматозоид и что он парадоксальным образом мог меня оплодотворить, осеменить этими ненормальными идеями, от которых мне предстояло страдать до конца жизни. Я никогда не набивала татуировку, но сделай я ее, это была бы «Q» на внутренней стороне бедра.

Перевернешь «Q» вниз головой – особенно изящно написанный «Q», как в шрифте Mrs. Eaves, – и увидишь яблоко, с черенком и маленьким листиком. «Q» для меня есть сам плод с древа познания. Недолго думая, я вытянулась на цыпочках и сорвала его. Слово «акробат» пришло из греческого и означает человека, который ходит на кончиках пальцев. Им я и хотела быть: шрифтовым акробатом.

V

Он не был норвежцем. Должно быть, это я узнала в-четвертых, и на том прекратила считать. До этого я лишь приоткрывала занавес, теперь стояла перед ним, лицом к лицу.

Толкая дверь в «Пальмиру» следующим вечером после беседы с Эрмине, я испытывала то редкое чувство, будто жизни предстоит измениться невозвратно. Меня вновь встретил мелодичный джаз, фортепианное трио, Бад Пауэлл³³. Думается мне, это был Бад Пауэлл. Эрмине и сейчас стояла за прилавком, глаз не отвести. Тонкие руки, изящные пальцы. Шея танцовщицы. Мне снова почудилось, что она смотрит на меня с неодобрением, будто знает, до чего меня манит комната за ее спиной – секрет, который мне знать не положено. Пара сегодняшних хлебов все еще лежала на полках.

Своеобразными буквами – *его* почерком – возвещалось, что передо мной – хлеб «Александр» и «буханка Шахерезады».

Я как раз размышляла, к чему бы такие названия, когда погас свет. Помещение погрузилось во тьму. Никто из гостей не выказывал признаков беспокойства, и тем не менее Эрмине ощупью пробралась между столами и стульями и скрылась на улице. Вскоре она вернулась и объявила, что свет отключили по всей округе. В то же мгновение он возник в дверном проеме кухни, держа свечу в руке. Как сейчас помню, я видела только глаза. Он был одними глазами. Две темных-претемных радужки, и они смотрели на меня. В помещении была и другая публика, но глаза – глаза смотрели на меня. Как я выглядела? Может, мой силуэт фосфоресцировал во мгле, раз он глядел на меня и ни на кого другого? Исходящий от рук свет и игра теней делали его ресницы неестественно длинными. Накрашенными. Я застыла, все чувства напряжены, будто готовлюсь принять сигнал. Ничего не случилось. И тем не менее мне хотелось, чтобы этой минуте не было конца. Чтобы он так и стоял со свечой в руках и был одними глазами.

Электричество включили. Ничего серьезного, просто сбой. Я увидела его во весь рост. Он был темным. Темные волосы, темные брови. Кожа не темная, но темнее, чем у норвежцев. Золотистая. Одет в черную футболку и черные джинсы под белым фартуком. Его силуэт, черный в белой комнате, был точно нарисован тушью: ясные мазки на белой бумаге. В голове пронеслось слово «ориентальный». Это был именно тот, кого я встретила в трамвае, его выдавал перстень-печатка. Адриан, подумала я. Или Адонис.

– Могу я вам помочь?

Я опомнилась и осознала, что он обращается ко мне с акцентом. Эрмине возилась с кофемашиной. Он гладил меня взглядом. Щекотно, будто по телу взаправду провели чем-то, мягкой пушистой кисточкой. Опять же: кисточка деда для сусального золота. Меня вот-вот сделают благороднее, пересоздадут взглядом.

– Вы меня не помните?

Он посмотрел непонимающе. Или я так истолковала его взгляд.

– I'm sorry. Where do you come from?³⁴ – спросила я.

– Из Сирии. Вы можете говорить по-норвежски. Голос звучал необычно. Ни на что не похожие обертона. Что-то не так со звуком «р», с произношением.

Он покосился на Эрмине, та скривила уголки рта в чаплиновской гримасе. Он улыбнулся, почти застенчиво. Очевидно, что по натуре Эрмине живая и смешливая – должно быть, рабо-

³³ Бад Пауэлл (1924–1966) – американский джазовый пианист, один из пионеров бибопа.

³⁴ Извините. Откуда вы? (англ.)

тать с ней весело. Она ответила улыбкой на улыбку. Мне не хотелось думать, что между ними что-то есть. Она все больше напоминала мне Элен.

Мы с Элен познакомились из-за бестолкового мальчишки с заячьими зубами по имени Иоаким. Дело было возле флагштока в яблонево́м саду за школой, где ученикам было строго-настрого запрещено находиться. Зима, все замело. Он незадолго до этого сломал руку и спрашивал, не хочу ли я написать свое имя на гипсе. Я думала, что все остальные уже подписались, но, когда он закатал рукав куртки, гипс оказался чистым.

Нас отвлекла незнакомая девочка, она перешла к нам в школу только на Рождество. Она тоже училась в шестом. Правила ее, по всей видимости, не слишком волновали, потому что она щегольски прошествовала прямехонько на запрещенную территорию. Она была высокой и худощавой. Я тоже была высокой и худощавой. У нее были кошачьи глаза. Какие глаза были у меня, я не знала. Она была красоткой. Покрывала ногти синим лаком. У меня были длинные, блестящие, черные волосы, но до красоты мне было далеко. Что-что, а это я знала.

Новая девочка тоже выразила желание расписаться на гипсе и стянула перчатки. Иоаким отказался и дернул рукав вниз. Иоаким, как я уже говорила, был ничем не примечательный бедолага, меня он несколько не интересовал, и тем не менее я испытывала гордость. Она выхватила у него ручку и принялась закатывать ему рукав, высвобождая гипс. Внезапно я увидела красоту, достойную защиты красоты, в том, что на белой поверхности было только мое имя, и я попыталась остановить чужую девочку. Она так грубо меня оттолкнула – хочу сказать «с жестокостью», – что я рухнула на живот и уткнулась лицом в снег. Кое-как встав на ноги, я ринулась на нее, отдернула ее ладони, пальцы с синим лаком, прочь от руки Иоакима, подбросив ее в воздух и повалив каким-то невероятным движением дзюдоиста. Не знаю, откуда что взялось. Я выругалась, бросилась на нее. Она была упорной и сильной, но моя ярость удерживала ее на земле. Перепуганный Иоаким пятился к тропинке, которая вела к школе. Девчонке удалось вывернуться из моей хватки. Мы снова стояли на своих двоих. Она выплюнула что-то разъяренное на языке, которого я не поняла, и это заставило меня толкнуть ее так резко, что она с размаху стукнулась носом о флагшток. Пошла кровь.

Я одержала победу над Элен в нашей первой схватке за мальчика. Она беззвучно плакала. Увлажнившиеся кошачьи глаза будто светились. Из носа капали крупные капли крови. Вместо того чтобы вытащить носовой платок, она принялась хаотично наматывать круги по саду. Она смотрела вниз, смотрела вокруг, она вошла в раж, потому что оставляла кровавые следы. Точно пыталась оставить подпись на свежем снегу, раз уж не получилось расписаться на гипсе. Победить меня вопреки всему. Результат больше напоминал спутанный клубок красных шерстяных ниток. Она двигалась маленькими шагами, тянула шею вперед, чтобы кровь капала беспрепятственно, постепенно создавая затейливый узор, целый лабиринт. Мне оставалось ею только восхититься.

Только когда раздался звонок на урок, она, опершись спиной о флагшток, сползла на снег, как измученный боксер в углу ринга. Иоакима давным-давно и след простыл. Я осмелилась подойти к ней. Кровь остановилась сама.

– Красивый лак, – сказала я, кивком указав на ее пальцы.

– Лазоревый. Как Средиземное море.

Девочка сразу стала мне симпатичнее.

– Смотри, – она указала на кровавые ниточки на снегу, – Джексон Поллок³⁵.

Я не поняла, о чем она.

– Как тебя зовут?

– Элен, – ответила она и оглядела меня так, будто удивилась тому, что встретила ровню.

³⁵ Джексон Поллок (1912–1956) – американский художник, идеолог абстрактного экспрессионизма. Широко известен благодаря своеобразной технике нанесения краски путем разбрызгивания (т. н. «живопись действия»).

После школы дедушка помог мне выбить латинскую «Н», с которой начиналось имя девочки, на осколке мрамора. Я подарила ее Элен на следующий день. Она покрутила ее в руках, подставила солнцу, обострившему мраморные грани. Мне всегда казалось, что буква «Н» похожа на двоих, которые тянут друг к другу руки... Она приложила мрамор к уху, решительно заявила, что он шумит, что ей слышны голоса из космоса. Мы подружились. Приспособили камушек для игры в классики по весне. Я забавлялась мыслью, что именно камень, моя «Н», сделал ее непобедимой.

Элен довелось пожить на Мадагаскаре. Ее отец был из Франции, и благодаря его работе семью порой заносило в самые отдаленные уголки мира. Мама же была норвежкой. Мы обе росли билингвами. Элен умела петь песни Эдит Пиаф с чудо каким картавым «р» – уши буквально *чесались* от наслаждения, когда она напевала «Milord».

Элен писала свое имя с диакритикой. Helene. Выглядело здорово. Ветка с двумя яблоками посреди. Или маленькая карусель. Элен настаивала и на акуте, и на грависе, точно это была часть ее личности.

– Helene – с тоски помрешь, – говорила она. – То ли дело Helene, целый тиволи³⁶.

Получив по носу, Элен спросила, как меня зовут. Я ответила: Сесилиа. Мне всегда было интересно, какое мое имя на вкус. После того как мы подружились, Элен говорила, что оно наводит ее на мысли о чужеземных странах. Мне было приятно, и я вспоминала штандарт, который развивался над Фивами в детстве. Элен сказала, что «Сесилиа» звучит так же красиво, как названия некоторых мест на Мадагаскаре. Антананариву. Фианаранцуа. Благодаря Элен я и сейчас могу без запинки отбарабанить немало сложных мадагаскарских названий. Иногда мы пользовались ими как шифром. Симпатичные мальчики звались «Соалала», унылые типы получили кличку «Белобака». Элен довелось пожить и в Эфиопии; она даже посещала собор³⁷, где, по преданию, хранится Ковчег Завета, переносной ящик со скрижалями, которые были даны Моисею Богом на горе Синай. Она показала мне эфиопский текст; письмо выглядело так, будто оно с Марса.

– Может, оно и так, – сказала Элен.

Она сурмила глаза. Никто в нашем возрасте такого еще не делал. Она научила меня, как добиться томного, жгучего, внеземного взгляда.

– Мы обе марсианки, – говорила Элен. – Мы обе другие. Мы можем распознать Соалала в унылой толпе Белобаков.

* * *

Рассказывают, что император Максимилиан повелел десяти тысячам мужчин валить деревья в одной из самых глухих чащ своей далеко простирающейся империи. Посмотришь с земли и ничего не поймешь, но стоит подняться в воздух, как сразу увидишь императорову монограмму, ММ – каждая буква мили в две высоты и до двух шириной. Император был суеверен и пожелал сообщить существам с далеких планет, что Земля уже занята. Здесь властвует Максимилиан.

Я стояла у прилавка в «Пальмире». Отогнала от себя образ прежней подруги. Передо мной уже совсем другая женщина, никаких тебе внутриименных каруселек. Надеюсь. Но Эрмине по-прежнему поглядывала на меня с недоверием, точно была недовольна, что я вторг-

³⁶ Тиволи – парк аттракционов в скандинавских странах.

³⁷ Имеется в виду Собор Святейшей Девы Марии Сиона в Аксуме, Эфиопия.

лась в ее угоды. Мужчина поодаль, мужчина с чернильными бровями, изучал меня с интересом. С любопытством.

– Спасибо, что помогли мне, когда меня сбила машина.

Я хотела сказать «что спасли мне жизнь», но не знала – объективно говоря, – а спас ли он ее.

– Не за что, – сказал он без тени улыбки, но глаза были дружелюбные, почти что дразнящие.

У меня не было слов. У меня частенько не было слов. Я указала на один из хлебов «Александр». Он протянул его мне обеими руками.

– Пусть это будет вам подарок, – произнес он с напускной торжественностью, выложив его на прилавок.

Я обнаружила, что хлеб был почти совсем круглый и что поверхность напоминала сложно повязанную ленту.

– Вам знакома история об Александре Македонском и Гордиевом узле?

Он упаковал выпечку в коричневый бумажный пакет. Я кивнула, смутно помнила что-то со школьных времен. Вблизи его зрачки казались неестественно огромными, как будто он пользовался белладонной. Ему было явно не по себе от того, как я буравила его взглядом, но мне никогда не приходилось видеть таких глаз. Радужка была будто расколота, усеяна осколками, а во взгляде читалась отчаянная жажда поиска.

Я отвесила ему легкий поклон на прощание. Не припомню, чтобы когда-нибудь кланялась мужчине. Ничего не произошло. И тем не менее что-то случилось.

У двери я замерла и перечитала плакат с восхитительным почерком. На задворках сознания забрезжила мысль, что грядущим вечером в кафе выступает именно он. Я стояла как вкопанная. В каждой букве было что-то манящее, многообещающее.

Ночью накануне этой встречи я лежала и думала о тексте из «Анны Карениной», с которым так долго мучилась днем; я размышляла, правильно ли было с моей стороны, *здорово* ли, возвращать из небытия старый проект – действительно ли возможно выработать лучший шрифт, знаки, которые бы проникали в самую сердцевину воображения читателя.

Мысли обратились к дедушке. Почему в детстве меня так впечатляли иероглифы? Не знаю. Может, потому, что я еще ребенком молниеносно осознала связь между письмом и жизнью. Алфавит, состоящий из всякой всячины. Как будто я могла выдвигать кухонные ящики, открывать шкафчики и писать предметами, которые там находила. Я знала, во всяком случае после знакомства с дедовой библиотекой, что знаки письма имели отношение к искусству. Что буква, какой бы незатейливой она ни казалась, обозначала не просто звук, но нечто большее.

Благодаря посещению дедовых Фив я всегда благоговела перед буквами. Я рано узнала, что слово «иероглифы» переводится как «священновырезанные письмена». Что знаки были даром богов. С их помощью, следовательно, можно было общаться с высшими силами. Письмо было тем же, чем самые ранние египетские ступенчатые пирамиды: лестницей в небо.

Лежа в кровати, измотанная схваткой с лексиконом Льва Толстого, я подумала, что нечто подобное, должно быть, распространяется и на письмо сегодняшнее. Я никогда не воспринимала иероглифы как послания из прошлого; для меня они были скорее знаками, которые устремлены в будущее, указывают на грядущий алфавит.

Анна Каренина. Мне следует еще кое-что сказать о любви. Я не верила в любовь. Пуганая птица и куста боится, как говорят малодушные люди. И дело даже не в Софусе и его лицемерных иконах.

У каждого есть свой основополагающий любовный опыт, и мой случился в старших классах. После первого года я сменила школу. В параллельный класс ходил Иоаким – тот самый

Иоаким, с которым мы познакомились в начальной школе. Я его позабыла, но Иоаким показал мне, что мальчику «j» отнюдь не обязательно вырастать в «J». Он может стать «M», императором, чем-то совершенно иным. Думаю, что влюбилась в него тотчас, стоило ему подойти представиться. Я увидела что-то в воздухе между нами. Искру – как те, что я высекала в темноте подпола зажигалкой дяди Исаака.

Я хотела быть той, кто собирает искры.

Иоаким встречался с Луизой, первой красавицей школы. Красотка, женщина-фанфары, как и Элен. Более того – она также была на редкость смекалистой, одной из немногих, кого прочили в медицинский. И тем не менее я ее одолела, сама того не зная, сама того не желая. Когда он понял, что я им заинтересовалась, он просто расстался с ней и ушел ко мне. Он не мог этого объяснить. Это была, сказал он, любовь. Он выговорил это слово с той отчетливой «в», с какой актеры декламируют стихи со сцены.

Я и не представляла, что можно быть предметом такой страсти – я уже упоминала, что не была красоткой. Да, у меня были иссиня-черные, южные локоны, у меня были лазоревые глаза, или как говорил дед: цвета ляпис-лазури. Я была своеобразной, но отнюдь не красоткой. И тем не менее: он предпочел меня. Он посылал цветы, которые я, краснея, принимала на глазах у отца с матерью. Он писал пространные, щемящие письма во время каникул, когда мы ненадолго разлучались. Он кидал камушки мне в окошко поздними вечерами, чтобы просто, как он говорил, увидеть мое лицо еще разок перед тем, как отправиться спать. Однажды он показал мне кусок гипса, где я расписалась в младших классах. Он сохранил его, сказал, что никогда меня не забывал. Нельзя не признать, что все это в совокупности производило впечатление.

Отношения казались неповторимыми. Мы были неразлучны весь второй год старшей школы. При его приближении я ощущала во рту электрический заряд, как когда мы проверяли батарейки, трогая контакты языком. Он громко, во всеуслышание объявлял о своей любви. «* * *», говорил он. Снова и снова. «* * *». Я считала его чересчур романтичным, но не могла отрицать, что мне нравилось. Он часто читал мне вслух из своих любимых произведений, особенно четырех книг из отцовской библиотеки, которые тогда стали и по сей день остаются для меня смешением ключей и загадок: «Ромео и Джульетта», «Страдания юного Вертера», «Грозовой перевал», «Анна Каренина». Он лежал на кровати и перелистывал книги в свете свечей в пустых бутылках из-под вина «Матеуш», выискивал пассажи, которые декламировал с таким драматизмом, что огни свечей трепетали. Абзацы, где говорилось, что любовь, мол, то-то и то-то и что ее впору сравнить с тем-то и тем-то. Свернувшись клубком, он откровенно наслаждался описаниями и мудрыми изречениями, будто они доставляли ему больше удовольствия, чем возможность ко мне прижаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.